

Островитяне, Евгений Иванович Замятин

1. ИНОРОДНОЕ ТЕЛО
2. ПЕНСНЕ
3. ВОСКРЕСНЫЕ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
4. ВЫСШАЯ ПОРОДА ИНТЕЛЛЕКТА
5. О ФАРФОРОВОМ МОПСЕ
6. ЛИЦО КУЛЬТУРНОГО ЧЕЛОВЕКА
7. РУЛЬ ИСПОРЧЕН
8. ГОЛУБЫЕ И РОЗОВЫЕ
9. ХОРОШО-С
10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ
11. СЛИШКОМ ЖАРКО
12. РОЖДЕНИЕ КЕМБЛА
13. ТУМАННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
14. ПЕРО СИСТЕМЫ УОТЕРМАНА
15. СЕРО-БЕЛАЯ ЧЕШУЯ
16. ТОРЖЕСТВУЮЩЕЕ СОЛНЦЕ

* * *

1. ИНОРОДНОЕ ТЕЛО

Викарий Дьюли — был, конечно, тот самый Дьюли, гордость Джесмонда и автор книги «Завет Принудительного Спасения». Расписания, составленные согласно «Завету», были развешаны по стенам библиотеки мистера Дьюли. Расписание часов приема пищи; расписание дней покаяния (два раза в неделю); расписание пользования свежим воздухом; расписание занятий благотворительностью; и, наконец, в числе прочих — одно расписание, из скромности не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюли, где были выписаны субботы каждой третьей недели.

Первое время, случалось, миссис Дьюли сходила с рельс и пыталась в неподожданный день сесть к викарию на колени или заняться благотворительностью в неурочное время. Но всякий раз мистер Дьюли, с ослепительной золотой улыбкой (у него было восемь коронок на зубах) и с присущим ему тактом — объяснял.

— Дорогая моя, это, конечно, пустячное уклонение. Но вы помните главу вторую моего «Завета»: жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к желанной цели. С механической — понимаете? И если нарушается работа хотя бы маленького колеса... Ну, да вы понимаете...

Миссис Дьюли, конечно, понимала. С книгой, она опять надолго усаживалась у окна. Жила, тосковала между глав романа. Через год в зеркале с удивлением видела новую морщинку у глаз: как, неужели — год? День и другой не могла читать. У окна, в странном ожидании, смотрела на улицу, на вылезающих из красного трамвая людей, на быстрые, распухающие облака. А мистер Дьюли, поглядывая на часы, занимался покаянием, физическим трудом, благотворительностью — и радовался: так стройно и точно работает машина.

К сожалению, ни одна машина не обеспечена от поломки, если в колеса попадает инородное тело. Так случилось однажды и с машиной викария Дьюли.

Было это в воскресенье, в марте, когда мистер Дьюли возвращался домой после утренней службы в церкви Сент-Инох. Жужжали велосипеды, мистер Дьюли морщился от их назойливых звонков, от слишком светлого солнца, от непозволительного галдежа воробьев.

Мистер Дьюли уже переходил через улицу к своему дому, когда вдруг из-за угла вывернулся красный автомобиль. Викарий остановился, по привычке своей заложил руки назад и перебирал пальцами, как будто отсчитывал: во-первых, во-вторых, в-третьих. И на «в-третьих» увидел: перед мчащимся красным автомобилем медленно шел субъект. Вероятно, это медленно — было не более полусекунды, но было именно так: медленно шел, и викарий успел запомнить громадные квадратные башмаки, шагающие, как грузовой трактор, медленно и непреложно.

Красный автомобиль крикнул еще раз, квадратные башмаки мелькнули в воздухе очень странно — и автомобиль стал. И тотчас остановилась вся улица. Столпились и вытягивали головы: кровь. Бобби записывал хладнокровно номер автомобиля. Рыжий джентльмен из публики наседал на шофера, кричал и размахивал руками так, что казалось — у него было их, по крайней мере, четыре.

— Несите же в дом! — кричал четверорукий. — Чей это дом? Несите...

Тут только викарий Дьюли очнулся, ответил себе: мой дом, схватился за квадратные башмаки и стал помогать пронести раненого — мимо двери. Но маневр не удался.

— Гелло, мистер Дьюли! — крикнул четверорукий джентльмен. — Ваше преподобие, вы разрешите, конечно, внести его к вам?

Викарий радостно показал четыре золотых зуба:

— Ах, О'Келли, вы? Конечно же — несите. Эти автомобили — это просто ужасно! Вы не знаете — чей?

Но О'Келли уже был где-то внутри, и перед викарием качались квадратные мертвые подошвы любителя прогулок под автомобилями. Викарий шел сзади и с тоской загибал пальцы:

— Завтрак. Две страницы комментариев к «Завету». Полчаса — в парке... Посещение больных...

Все это — погибло. Великая машина викария Дьюли остановилась. В запасной спальнне светло-серый ковер закапали кровью, а на кровати, пустовавшей годы, водворилось инородное тело.

Сейчас должен был приехать доктор. Время завтрака — четверть второго давно уж прошло, и викарий в библиотеке ломал голову над временным расписанием. Если, в самом деле, все передвинуть на три часа, то обед придется в одиннадцать вечера, а посещение больных — в час ночи. Положение было нелепое и безвыходное.

Когда господин викарий занимался в библиотеке, вход туда был, конечно, строжайше воспрещен. И если миссис Дьюли теперь стучала в дверь — вероятно, произошло особенное.

— Понимаете, Эдвард, это же немыслимо... — Щеки у миссис Дьюли горели. Там доктор, а Кембл не хочет раздеваться, скажите ему вы. Это же просто немыслимо!

— Кто это — Кембл? Этот — наверху? — Викарий треугольно поднял брови.

«Этот наверху» — Кембл — лежал теперь, открывши глаза.

Доктор промыл слипшиеся в крови, светлые волосы. С головой оказалось благополучно, но из горла шла кровь, были какие-то внутренние повреждения, а Кембл упрямо отказывался снять пиджак.

— Послушайте, ведь вы же можете так... Бог знает что. Ведь надо же доктору знать, в чем дело... — Мистер Дьюли с ненавистью глядел на тяжелый, квадратный подбородок Кембла, упрямо мотавший: нет.

— Послушайте, вы же, наконец, в чужом доме, вы заставляете всех нас ждать... — Мистер Дьюли улыбнулся, оскалив золото восьми злых зубов.

Подбородок дергался. Кембл побледнел еще больше:

— Хорошо. Я согласен, если так. Только пусть уйдет эта леди.

Викарий и доктор расстегнули пиджак мистера Кембла. Под пиджаком оказалась крахмальная манишка и затем непосредственно громадное, костлявое тело.

Рубашки — не было. Это невероятно, но именно так: рубашки не было.

— Э? — вопросительно-негодующе поднял брови викарий и взглянул на доктора. Но доктор был занят: осторожно прощупывал правый бок пациента.

Внизу, в гостиной, викарий так и бросился на доктора:

— Ну что же? Ну как он?

— Мм... извиняюсь: неважно... — Доктор застегивал и расстегивал сюртук. — Два ребра, и может быть, — кой-что похуже: извиняюсь. Дня через три выяснится. Надо бы его только не трогать с места.

— Как, не тро... — хотел крикнуть мистер Дьюли, но тотчас же улыбнулся золотой улыбкой: — Бедный молодой человек, бедный, бедный...

Весь вечер мистер Дьюли бродил по комнатам, непристанный, и был полон ощущениями поезда, сошедшего с рельс и валяющегося вверх колесами под насыпью. Миссис Дьюли носилась где-то там со льдом и полотенцами, миссис Дьюли была занята. Опрокинувшийся поезд был предоставлен самому себе.

В половине двенадцатого викарий Дьюли отправился спать — или, может быть, не столько спать, сколько перед сном изложить свои соображения миссис Дьюли. Но кровать миссис Дьюли была еще пуста.

Случилось это в первый раз за десять лет супружеской жизни, и викарий был ошеломлен. Лежал вперив неморгающие, как у рыб, глаза в белую пустоту соседней кровати, создавались в пустоте какие-то формы. Била полночь.

И вышло очень странное: созданная из пустоты миссис Дьюли отрицательная миссис Дьюли — действовала на викария так, как никогда не действовала миссис Дьюли телесная. Вот немедленно же, сейчас же, нарушить одно из расписаний — немедленно же видеть и осязать миссис Дьюли...

Викарий приподнялся и позвал — но никто не откликнулся: миссис Дьюли была занята там, у постели больного, может быть — умирающего. Что же можно возразить против исполнения долга милосердия?

Тикали часы. Викарий лежал, аккуратно сложив руки крестообразно на груди, как рекомендовалось в «Завете Спасения» — и старался убедить себя, что спит. Но когда часы пробили два — автор «Завета» услышал самого себя, произносящего что-то совершенно неподходящее по адресу «этих безрубашечников». Впрочем, справедливость требует отметить, что тотчас же автор «Завета» мысленно загнул палец и отметил прискорбное происшествие в графе «Среда, от 9 до 10 вечера», где стояло: покаяние.

Миссис Дьюли была близорука и ходила в пенсне. Это было пенсне без оправы, из отличных стекол с холодным блеском хрустала. Пенсне делало миссис Дьюли великолепным экземпляром класса *bespectacled women* — очкатах женщин от одного вида которых можно схватить простуду, как от сквозняка. Но, если говорить откровенно, именно этот сквозняк покорил в свое время мистера Дьюли: у него был свой взгляд на вещи.

Как бы то ни было, совершенно достоверно, что пенсне было необходимым и, может быть, основным органом миссис Дьюли. Когда говорили о миссис Дьюли малознакомые (это были, конечно, приезжие), то говорили они так:

— А, миссис Дьюли... которая — пенсне?

Потому что без пенсне нельзя было вообразить миссис Дьюли. И вот, однако же...

В суматохе и анархии, в тот день, когда в дом викария вторглось инородное тело — в тот исторический день миссис Дьюли потеряла пенсне. И теперь она была неузнаваема: пенсне было скорлупой, скорлупа свалилась — и около прищуренных глаз какие-то новые лучики, губы чуть раскрыты, вид — не то растерянный, не то блаженный.

Викарий положительно не узнавал миссис Дьюли.

— Послушайте, дорогая, вы бы посидели и почитали. Нельзя ведь так.

— Не могу же я — без пенсне, — отмахивалась миссис Дьюли и опять бежала наверх к больному.

Вероятно, потому что она была без пенсне — Кембл сквозняка в ее присутствии отнюдь не чувствовал и, когда у него дело пошло на поправку охотно и подолгу с ней болтал.

Впрочем, «болтал» — для Кембла означало скорость не более десяти слов в минуту: он не говорил, а полз, медленно култыхался, как тяжело нагруженный грузовик — трактор на широчайших колесах.

Миссис Дьюли все старалась у него допытаться относительно приключения с автомобилем.

— ...Ну да, ну хорошо. Но ведь видели же вы тогда автомобиль, ведь могли же вы сойти с дороги — так отчего же не сошли?

— Я... Да, я видел, конечно... — скрипели колеса. — Но я был абсолютно уверен, что он остановится — этот автомобиль.

— Но если он не мог остановиться? Ну, вот просто — не мог?

Пауза. Медленно и тяжело переваливается трактор — все прямо — ни на дюйм с пути:

— Он должен был остановиться... — Кембл недоуменно собирал лоб в морщины: как же не

мог, если он, Кембл, был уверен, что остановится! И перед его, Кембла, уверенностью — что значила непреложность переломанных ребер?

Миссис Дьюли шире раскрывала глаза и приглядывалась к Кемблу. Где-то внизу вздыхал опрокинутый поезд викария. Приливали сумерки, затопляли кровать Кембла, и скоро на поверхности плавал — торчал из-под одеяла только упрямый квадратный башмак (башмаков Кембл не согласился снять ни за что). С квадратной уверенностью говорил — переваливался Кембл, и все у него было непреложно и твердо: на небе — закономерный Бог; величайшая на земле нация — британцы; наивысшее преступление в мире — пить чай, держа ложечку в чашке. И он, Кембл, сын покойного сэра Гарольда Кембла, не мог же он работать, как простой рабочий, или кого-нибудь просить, — ведь ясно же это?

— ...Платили долги сэра Чарльза, прадеда. Платил дед, потом отец — и я. Я должен был заплатить, и я продал последнее имение, и я заплатил все.

— И голодали?

— Но ведь я же говорил, ясно же, не мог же я... — Кембл обиженно замолкал.

А миссис Дьюли — она была без пенсне — нагибалась ниже и видела: верхняя губа Кембла по-ребячыи обиженно нависала. Упрямый подбородок — и обиженная губа: это было так смешно и так... Взять вот и погладить:

«Ну-у, миленький, не надо же, какой смешной...»

Но вместо этого миссис Дьюли спрашивала.

— Надеюсь, вам сегодня лучше, Кембл? Не правда ли: вы уже свободно двигаете рукой? Вот подождем, что завтра скажет доктор...

Утром приходил доктор, в сюртуке, робкий и покорный, как кролик.

— Что ж, натура, натура — самое главное. Извините: у вас великолепная натура... — бормотал доктор, смотрел вниз, в сумочку с инструментами, и в испуге ронял ее на пол, когда в комнату с шумом и треском вторгался адвокат О'Келли.

От ирландски рыжих волос О'Келли и от множества его размахивающих рук в комнате сразу становилось пестро и шумно.

— Ну, что же, Кембл, уже починились? Ну, конечно, конечно. Ведь у нас, англичан, головы из особенного материала. Результат бокса. Вы боксировали? Немного? Ну вот, ну вот...

Напестрив и нашумев, только под самый конец О'Келли замечал, что у него расстегнут жилет и что пришел он, в сущности, по делу: владелец автомобиля готов был немедленно уже уплатить Кемблу сорок фунтов.

Кембл не удивлен был nimalo:

— О, я был уверен...

Он попросил только перо и бумагу и на узком холодновато-голубом конверте миссис Дьюли написал чей-то адрес.

Через два дня пришел ответ И когда Кембл читал — миссис Дьюли опять вспомнила о пенсне: вдруг вот сейчас занадобилось пенсне, беспокойно обшаривала комнату в десятый раз.

— Надеюсь, вам пишут хорошее. Я видела — почерк женский... — Миссис Дьюли усиленно рылась в аптечном шкафчике.

— О да, от матери. Я писал о деньгах. Теперь она сможет устроиться прилично.

Миссис Дьюли захлопнула шкафчик:

— Вы не поверите — я так рада, так страшно за нее рада! — Миссис Дьюли была рада в самом деле, это было видно, на щеках опять был румянец.

За завтраком миссис Дьюли, глядя куда-то мимо викария — может быть, на облака, — вдруг неожиданно улыбнулась.

— Вы в хорошем настроении сегодня, дорогая. — Викарий показал две золотых коронки. — Вероятно, ваш пациент, наконец, поправляется?

— О да, доктор думает, в воскресенье ему можно будет выйти...

— Ну вот и великолепно, вот и великолепно! — Викарий сиял золотом всех восьми коронок. — Наконец-то мы опять заживем правильной жизнью.

— Да, кстати, — нахмурилась миссис Дьюли. — Когда же будет готово мое пенсне? Нельзя ли к воскресенью?

3. ВОСКРЕСНЫЕ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

К воскресенью в Джесмонде каменные пороги домов, как всегда, были выскоблены до белизны ослепительной. Дома пожилые, закопченные, но белые полоски порогов сверкали, как вставные зубы воскресных джентльменов.

Воскресные джентльмены, как известно, изготавливались на одной из джесмондских фабрик и в воскресенье утром появлялись на улицах в тысячах экземпляров — вместе с воскресным номером «Журнала Прихода Сент-Инох». Все с одинаковыми тростями и в одинаковых цилиндрах, воскресные джентльмены со вставными зубами почтенно гуляли по улицам и приветствовали двойников.

— Прекрасная погоду, не правда ли?

— О да, вчера была значительно хуже...

Затем джентльмены слушали проповедь викария Дьюли о мытаре и фарисее. Возвращаясь из церкви, каким-то чудом находили среди тысячи одинаковых, отпечатанных на фабрике, свой дом. Не торопясь, обедали, разговаривая с семейством о погоде. Пели с семейством гимны и ожидали вечера, чтобы пойти с семейством в гости.

Утром в воскресенье, изумивши доктора, Кембл встал и отправился к матери. Миссис Дьюли весь день сидела у всегдашнего окна. Читать было нельзя: пенсне к воскресенью так-таки и не сделали.

«Ну, ничего, скоро сделают, и опять заживем правильной жизнью», думалось словами викария, смотрела в окно, неслась быстрые, распускающие облака, и надо было бежать за ними — так было надо — не могла оторвать глаз.

— Послушайте, дорогая, но ведь там уже гости... — вбегал викарий, потирая руки. Он был в превосходном настроении: скоро опять начнется правильная жизнь.

Куда-то шла миссис Дьюли, с какими-то розовыми и голубыми дамами говорила о погоде, и все неслась и пухли облака. А викарий сиял золотом восьми коронок и развивал перед розовыми и голубыми идеи «Завета Принудительного Спасения» — что означало на его барометре максимум. В сущности, не было ли это совершенно ясно: если единичная — всегда преступная и беспорядочная — воля будет заменена волей Великой Машины Государства, то с неизбежностью механической — понимаете? — механической... И механически кивала в ответ чья-то круглая, как футбольный шар, голова.

Протрещал звонок. Облака сгустились, стали в полуутешной передней — и из облаков вышел Кембл. Он был чисто выбрит (подбородок стал еще квадратней) и в смокинге, хотя и поношенном. И за ним появлялся у входа еще кто-то.

И когда кто-то появился — Кембл возгласил:

— Моя мать, леди Кембл...

Все разом обернулись и смолкли, как будто случилось неловкое или неприятное, хотя ничего такого и не было. Потому что, если говорить о вечернем платье леди Кембл, то что же: платье было — как платье, серого шелка, разве только чуть старомодное. Но все молчали.

Леди Кембл выступала медленно, и какая-то невидимая узда все время подтягивала ее голову вверх. Серо-желтые седые волосы, и в вырезе серого платья — шевелились мумийные, страшные плечи, и кости, кости... Так выпирает каркас в старом, сломанном ветром, зонтике.

— Я очень рад, что мы имели случай... — почтительно начал викарий. — Это приключение с автомобилем послужило... — Викарий взглядывался в ее лицо: оно было самое обыкновенное,

но было что-то...

— Мой покойный Муж, сэр Гарольд, всегда высказывался против автомобилей... — Невидимая узда подтягивала голову все выше... — В их слишком быстром движении он находил положительно что-то невоспитанное...

Это было подмечено очень тонко: именно — невоспитанное. Викарий потирал руки:

— Совершенно с вами согласен, дорогая леди Кембл: именно невоспитанное!

Да, это очевидно: им суждено стать друзьями... Викарий всматривался в ее лицо: нет, ничего особенного как будто. Просто показалось.

— Я очень, очень рада, что миссис Дьюли так дружна с моим сыном. Не правда ли, так приятно смотреть на них? — Леди Кембл улыбалась.

И тотчас же викарий понял, что это были — губы. Бледно-розовые, тончайшие и необычайно длинные, как черви — они извивались, шевелили вниз и вверх хвостиками...

Миссис Дьюли оживленно о чем-то говорила и близко наклонила к Кемблу лицо: она была без пенсне.

— Пенсне еще не готово, знаете ли... — растерянно пробормотал викарий черви ползли прямо на него — пятился — придумывал, что бы такое сказать. Да... Вам мистер Кембл говорил: он получил предложение поступить к адвокату О'Келли. Конечно, не Бог знает что, но на первое время...

— О, нужда, конечно, заставляет согласиться, а так... О'Келли! Ведь я прожила здесь уже год... — Леди Кембл улыбалась, черви вытягивались, в извивах нацеливались на добычу.

Викарий был уже спокоен. Он вновь был автором «Завета Спасения» и благосклонно показывал золотые коронки:

— ...Единственная надежда — на благотворное влияние среды. Я не хочу приписать это себе, но вы знаете — прихожане Сент-Инох стоят на исключительной высоте, и я надеюсь, что мало-помалу даже О'Келли...

— О'Келли? Да, не правда ли, ужасно? — заволновались голубые и розовые дамы, и быстрее закивала футбольно-круглая голова. Футбольная голова принадлежала мистеру Мак-Интошу, а мистер Мак-Интош, как известно, знал все.

— О'Келли? Ну как же: за кулисами в «Эмпайре»... Ремингтонистки? Ну ка-ак же! Четыре ремингтонистки... — Мистер Мак-Интош, как мяч, мелькая из угла в угол — в смокинге и сине-желто-красной шотландской юбочке — мелькал голыми коленками. Мистер Мак-Интош занимал пост секретаря Корпорации Почетных Звонарей прихода Сент-Инох и, следовательно, был специалист по вопросам морали...

— Вы знаете, я бы таких, как этот О'Келли... — воодушевился Мак-Интош. Но, к сожалению, приговор его остался неопубликованным: обвиняемый явился лично, а приговоры суда по вопросам морали объявляются заочно.

— А мы только что о вас говорили, — викарий показал адвокату два золотых зуба.

— Вероятно, изрядно успели подъюлить? — засмеялся О'Келли: он ввел в употребление глагол дьюлить и глаголом всякий раз огорчал викария.

— Если бы вы не опоздали, дорогой О'Келли, вы убедились бы лично. Но ведь вы по части аккуратности безнадежны...

— Я аккуратно опаздываю: это уже — аккуратность, — тряхнул рыжими вихрами О'Келли. Как всегда, он был растрепан, пиджак в каком-то пуху, одна пуговица совершенно неподходяще расстегнута. Голубые и розовые подталкивали друг друга, черви леди Кембл шевелились — и только, может быть, ничего не видела одна миссис Дьюли.

— ...Итак, утром вы переезжаете в свои комнаты, и значит сегодня последнюю ночь у нас... — Миссис Дьюли озябло поводила плечами: вероятно, простудилась.

Кембл стоял молча, упористо расставив ноги. Миссис Дьюли взглянула в зеркало напротив — поправить прическу, мелькнуло золото волос — золото последних листьев. Она вздрогнула и засмеялась:

— А знаете: пусть, будто вы еще больны, и я, как всегда, приду положить вам компресс на ночь?

— Но ведь я же не болен? — Кембл недоуменно морщил лоб: грузовик-трактор ходил только по камню, тяжелые колеса увязали в зыбком «пусты».

Усаживались ужинать. Очень долго возился Мак-Интош: это была очень сложная операция — сесть так, чтобы не смялась его сине-желто-зеленая юбочка. Усевшись, мистер Мак-Интош глубокомысленно покивал футбольной головой:

— В сущности, это великая мистерия — еда, не правда ли?

Это было сказано прекрасно: мистерия. Великая мистерия протекала в молчании, и только в том углу, где сидел О'Келли, было рыже, пестро и шумно. О'Келли рассказывал про Париж, про какой-то надувной чемоданчик, купленный в Париже — специально для надувания английских законов.

— ...Без багажа ведь с дамой у нас в гостиницу не пустят. И вот вы вытаскиваете из кармана, надуваете — пффф — и великолепный чемодан. В конце концов, роль закона не такая же ли, как роль ваших платьев, сударыни? Ax, извините, ваше преподобие...

Викарий треугольно поднял брови и уже в который раз поглядывал на часы: в расписании для воскресений в графе «сон» стояла цифра 11. И кроме того, этот О'Келли...

Мистерия кончалась. Воскресные джентльмены с супругами торопились по домам.

Прощаясь с Кемблом у двери его спальни, миссис Дьюли засмеялась еще раз — свеча в руке дрожала:

— Так значит — компресс?

— Нет, я же здоров, следовательно — зачем же компресс? — Свеча освещала непреложный квадратный подбородок Кембла.

Миссис Дьюли быстро повернулась и пошла в спальню. Викарий уже спал, в белом фланелевом колпаке, крестообразно сложив руки на груди.

Утром за завтраком викарий увидел миссис Дьюли уже в пенсне и положительно обрадовался:

— Ну вот — теперь я вас опять узнаю!

4. ВЫСШАЯ ПОРОДА ИНТЕЛЛЕКТА

Контора адвоката О'Келли помещалась во втором этаже старого дома. В толстой каменной стене — окованная дверь с молотком, темная каменная лестничка наверх и одна ступенька вниз, наружу, в переулок Сапожника Джона. Переулок — узкое ущелье меж домов — только двум разойтись, и синяя полоска неба между стен вверху. В старом доме жил когда-то свободолюбивый Сапожник Джон, упрямо державшийся Лютеровой ереси и за это сожженный. Теперь сюда пришел работать мистер Кембл.

В первой комнатке стучали на ундервудах четыре барышни, О'Келли подвел Кембла к первой — и представил:

— Моя жена Сесили, она же Барашек.

С льняными волосами, с крошечным ротиком — она была, правда, как пасхальный барашек, перевязанный ленточкой. Кембл осторожно пожал ей руку.

Затем О'Келли познакомил с тремя остальными и о каждой сказал одинаково кратко-серъезно:

— Моя жена. Моя жена. Моя жена.

Кембл остановился с протянутой рукой, страдальчески наморщил лоб, и было слышно, как пыхтит тяжелый грузовик, не в силах стронуться с места. Моя жена — моя жена — моя жена... Посмотрел на О'Келли: нет, О'Келли был совершенно серьезен.

— Послушайте, да разве вы не знали: ведь я же — магометанин, — пришел на помощь О'Келли.

Кембл облегченно расправил лоб: теперь налицо были и малая, и большая посылка — полный силлогизм. Все становилось квадратно-просто.

— О, я всегда относился с уважением ко всякой установленной религии, серьезно начал Кембл. — Всякая установленная религия...

О'Келли, красный, с минуту молча наливался смехом, потом лопнул, а за ним — все его четыре жены.

— Слушайте, Кембл... Ой, не могу! Да вы какой-то... Ох, Господи, надо же: он, ей-Богу, поверил! Ну-у, голубчик, я-то вас живо выучу слушать вранье...

— Вранье? — Кембл сбился безнадежно. — Вранье? — это было непонятное, ни в шутку, ни вправду — просто, вообще непонятное, ну как может быть непонятна, непредставима бесконечность вселенной. Кембл стоял убитый, столбяные ноги — расставлены.

— Послушайте, Кембл, будем же серьезны... — О'Келли стал серьезен, как всегда, если говорил несерьезно. — Не забывайте, что мы — высшая порода интеллекта — адвокаты, и поэтому — наша привилегия: лгать. Ясно же как день: животные — представления не имеют о лжи; если вы попадете к каким-нибудь диким островитянам, то они тоже будут говорить только правду, пока не познают европейской культуры. Ergo: не есть ли это признак...

Все это было совершенно так. Но Кембл непреложно, квадратно был уверен, что это не должно быть верно, и потому в голове была сущая толчея. И он уже не слышал слов О'Келли, а только безнадежно ограбал рукой лоб: так медведь ограбает облепивших пчел...

В приемной ожидала адвоката какая-то молодая леди, подстриженная по-мальчишечьи, курила папиросу.

— А-а, Диidi! Вы, деточка, здесь давно? Миссис Диidi Ллойд, наша клиентка. Развод... — Адвокат обернулся к Кемблу, увидел его соображающий лоб — и опять понесся. — Я ей говорил: вступить сперва в пробный брак, но она непослушница... Не слыхали о пробном браке? Ну как же, ну как же: билль прошел в парламенте тридцать первого... ну да, тридцать первого марта.

Миссис Диidi Ллойд смешливая — у нее дрожали губы, Кембл опять сбивался — верить или не верить, а О'Келли уже раскладывал перед ним бумаги.

— ...Остались сущие пустяки. Разберитесь-ка, вот.

Кембл поклонился очень официально: мальчишеские повадки и папироса миссис Диidi Ллойд и нога на ногу — были не в его вкусе. Он уселся за бумаги, а О'Келли расхаживал сзади, обсыпал пеплом жилет и вслушивался.

Бумага — это определенно. Туман в голове Кембла разбредался, по наезженному шоссе грузовик тащил кладь уверенно и быстро. О'Келли сиял и хлопал по плечу Кембла:

— Да вы молодчина! Я так и знал... Ломовичище вы эдакий...

Проходили клиенты. О'Келли уже позевывал: пора бы и обедать.

— Ну, что ж: в ресторан? А оттуда — в театр? Нельзя? Ну, да полно...

Дома к обеду ждала леди Кембл. Но у О'Келли, как всегда, нашлись какие-то вывороченные и неожиданные доводы, выходило, что иначе нельзя — и Кембл послушно шел.

После бутылки романеи, в театре чувствовалось Кемблу: он очень высокий — выше всех — и легкий. Так редко чувствовал себя легким — очень это удобно и смешно — и всему на сцене покатывался, как пятилетний...

Впрочем, и все так же радостно смотрели и так же пятилетне смеялись. Было очень забавно: господин с приклеенным носом и толстая бабища танцевали тустеп, затем поссорились из-за найденного шиллинга, и господин с носом бил бабищу по щекам, а в оркестре бил барабан в такт. Потом девица, освещаемая попеременно зеленым и малиновым светом, играла на скрипке Моцарта. Потом какая-то в черном, тонкая, медленно плыла — танцевала в полумраке...

Один поворот — и Кемблу почудилось: узнал тонкое мальчишеское тело, подстриженные кудри... нет, не может быть! Но она уже была за экраном экран ярко освещен — и ее тень постепенно сбрасывала с себя все, привычно неспешно, чулки, подвязки, трико: был ее следующий танец — в красном.

— Миссис Ди迪 Ллойд? — не отрываясь от экрана, спросил Кембл.

— Миссис... — передразнил О'Келли. — Ну, да конечно же — Ди迪.

О'Келли с любопытством, искоса, поглядывал на устремленного вперед Кембла: вот сейчас сдвинется грузовик-трактор и попрет, все прямо, через что попало...

Ди迪 кончила красный танец — Кембл перевел, наконец, дух, и это вышло у него так шумно, из глубины, что сам испугался и огляделся кругом. Из ложи справа в темноте что-то на него блеснуло.

— Ну что, дружочек, понравилось, кажется? — ухмыльнулся О'Келли.

Уже одетая — в пальто и шляпе — Ди迪 через проход пробиралась к ним. Села рядом с О'Келли и, смешливо захлебываясь, что-то ему рассказывала на ухо.

Было неловко, что теперь она — одетая, и потом показалось: слишком громко смеется. Кембл отодвинулся, выставив подбородок — уселся прямой, непреложный, и упрямо слушал концерт на странном инструменте: одна струна, натянутая на швабре.

Зажгли полный свет. Ди迪 повернулась к Кемблу:

— Послушайте, Кембл, правду говорит О'Келли, что вы никогда — что вы никогда... — взяла Кембла за руку и маленьким золотым карандашом стала ему что-то писать на манжете.

«Что, если б моя мать...» — вспомнились Кемблу тончайшие извивающиеся губы, и он опять огляделся кругом, как будто леди Кембл могла быть здесь.

Но вместо леди Кембл — в ложе направо он увидел миссис Дьюли. Казалось, стекла ее пенсне блестели холодным блеском прямо на Кембла. Но это, очевидно, только казалось: блестя прямо на Кембла — миссис Дьюли не кланялась. Нет, очевидно, она не видала.

5. О ФАРФОРОВОМ МОПСЕ

Фарфоровый мопс обитал в № 72, в меблированных комнатах миссис Аунти. Постояльцы тут менялись каждую неделю — всякий раз, как в «Эмпайр» приезжало новое revue. Всегда стояли облака табачного дыма; по ночам кто-то плескался и хохотал в ванной; до полудня были опущены шторы в спальнях. Но фарфоровый мопс Джонни нимало этим не смущался и с высоты каминной полки взирал на жизнь с всегдашней своей хладнокровной и знающей улыбкой. Мопс Джонни принадлежал Диidi — и обратно: Диidi принадлежала мопсу Джонни. Они были неразлучными друзьями. И тем досадней, что у Кембла как-то сразу и без всякой видимой причины установились неважные отношения с Джонни.

— Послушайте, Кембл, отчего вы не любите моего Джонни? Посмотрите, он такой прелестно-бездобразный. И он такой верный. И с ним можно делать что угодно...

У Кембла на коленях разложены бумаги: очень трудная задача — уговорить Диidi взять деньги, которые так любезно предлагаются ей мистером Ллойд, бывшим мужем. У Кембла лоб собран мучительно.

— ...Мистер О'Келли находил бы, что вам деньги надо взять. И я не понимаю — почему...

— Послушайте, Кембл, а вы не находите: Джонни похож на мистера О'Келли? Оба они одинаково безобразно-милые, и такие умные, и одинаково улыбаются. Ну вот сядьте сюда — сбоку — посмотрите?

Прямой, негибающийся, Кембл, как Будда, усаживался на ковер и сердито смотрел на Джонни. Но это было верно: мопс был — О'Келли, две капли воды. Медленно култыхаясь, и в самом смехе волоча какой-то груз, Кембл хохотал, раскатывался все больше, и уже Диidi о другом — а его все не унять.

Оказывалось, что в Джонни есть нечто байроновское: в сущности — это до глубины разочарованное существо, потому и улыбается вечной улыбкой. Перед Джонни ставилась книжка в белом сафьяне — одна из немногих драгоценностей, которую Диidi никогда не закладывала, — и Джонни читал, медленно и печально. Свет камина мерцал на мебели — лампы еще не зажжены; на полу белели забытые бумаги; отливал красным квадратный подбородок Кембла. Джонни читал...

Спохватывался Кембл, сердито вскакивал с ковра:

— Но все-таки должен же я сказать мистеру О'Келли, почему вы не хотите взять денег?

Белая книжка летела в угол, черная черта бровей вдруг зачеркивала мальчишеское лицо
Диди — Диди кричала:

— Потому что я — я - я изменила мистеру Ллойд, поняли, нет? Почему изменила? Потому что
была хорошая погода — и, пожалуйста, убирайтесь с своими бумагами! Джонни в десять раз
vas umnhee, он никогда не спрашивает...

Наутро, в конторе, Кембл жаловался — с нависшей по-ребячыи, обиженною губой:

— Она просто не слушает... Все со своим мопсом...

О'Келли ухмылялся — как мопс:

— Эх вы... Кембл вы эдакий! Нынче же вечером волоките ее ко мне: мы с ней живо
расправимся...

Вечер был очень тихий. Чинно и тихенько, радуя взор, стояли в палисадниках стриженные под
нулевой номер деревья — ряды деревянных солдатиков. Вероятно, был какой-нибудь
праздник или просто специальная служба для детей, церковь Сент-Инох звонила, по одному
перебирала колокола в одном и том же порядке — все вертели и вертели какую-то ручку и
чинными рядами шли стриженые дети в белых воротничках.

Кембл и Диди остановились — пропустить шествие. Прошел последний беловоротничковый
ряд, и из-за угла показался викарий Дьюли, сопровождаемый миссис Дьюли и секретарем
Почетных Звонарей Мак-Интошем. Викарий шел, как полководец, он вел беловоротничковую
армию ко спасению математически верным путем. Медленно перекладывал за спиной пальцы
— отсчитывал что-то.

Кембл чувствовал себя немного неловко: он не был у Дьюли с того самого воскресенья, надо
что-нибудь... надо подойти и сказать...

— Вы извините — я только на минутку... — Кембл оставил Диди у церковного заборчика и
медленно заколыхался навстречу Дьюли. Упористо расставив ноги и смущенно глядя на
квадратные башмаки, Кембл извинялся: ужасно занят у адвоката, как-то совершенно не было
времени... Хрустально поблескивало пенсне миссис Дьюли, викарий сиял золотыми зубами и
поглядывал искоса в сторону Диди: она стояла у заборчика и поигрывала тросточкой Кембла.

— Великолепный вечер! — радостно засвидетельствовал Кембл. Страдальчески сморщился.
Пауза...

Выручил Мак-Интош. Он был общепризнан человеком оригинальным и глубокомысленным. В
эту минуту он внимательно смотрел себе под ноги:

— Я всегда думаю: какая великая вещь культура. Вот например: тротуар. Нет, вы вдумайтесь: тротуар!

И тотчас звонкий смех — все с ужасом обернулись: эта молодая особа с тросточкой — смеялась. Эта молодая особа всегда была смешлива: теперь она опиралась на тросточку и тряслась, тряслась от смеха, трясла подстриженными кудряшками...

Дальше, в сущности, ничего не было особенного: просто миссис Дьюли обернулась и посмотрела на эту молодую особу — или, вернее, не на нее, а на церковный заборчик, к которому прислонилась особа. Миссис Дьюли посмотрела так, как будто эта особа была стеклянной, совершенно прозрачной.

Диди вспыхнула, что-то хотела сказать — что было бы уж, конечно, совершенно невероятно — но только вздернула плечами и быстро куда-то пошла...

А затем миссис Дьюли любезно протянула Кемблу руку — показалось, ее рука дрожит — или, может быть, это дрожала рука самого Кембла.

— До свидания, мистер Кембл. Все-таки надеемся скоро вас видеть... — И миссис Дьюли проследовала в церковь.

Это было неслыханно... у Кембла горели уши, во всю свою тяжелую прыть побежал за Диidi, но она как провалилась сквозь землю: нигде ее не было...

Вечером, по окончании церковной службы, миссис Дьюли сидела с викарием в столовой и постукивала корешком книги:

— Ну что же — ваше принудительное спасение? Вы же видите, куда идет Кембл? На вашем месте я бы...

Викарий треугольником поднял брови: он положительно не узнавал миссис Дьюли, раньше она совершенно не интересовалась «Заветом Спасения». Викарий потирал руки: это хороший знак, это великолепно...

— Вы правы, дорогая: этим надо заняться. Конечно, конечно.

А в № 72 — камин покрывался пеплом, дергалось, трепыхалось под пеплом последнее тепло. На ковре лежала Диidi и с нею фарфоровый мопс Джонни. Безобразная морда мопса была вся мокрая. На пороге стоял Кембл, страдальчески сморщившись: он пришел сказать Диidi, что поведение ее странно по меньшей мере. И вот — нету слов, или мешает что-то, спирается вот тут, в горле. В сущности, ведь это нелепо...

Кембл старался построить силлогизм.

6. ЛИЦО КУЛЬТУРНОГО ЧЕЛОВЕКА

Как известно, человек культурный должен, по возможности, не иметь лица. То есть не то чтобы совсем не иметь, а так: будто лицо, а будто и не лицо чтобы не бросалось в глаза, как не бросается в глаза платье, сшитое у хорошего портного. Нечего и говорить, что лицо культурного человека должно быть совершенно такое же, как и у других (культурных), и уж, конечно, не должно меняться ни в каких случаях жизни.

Естественно, что тем же условиям должны удовлетворять и дома, и деревья, и улицы, и небо, и все прочее в мире, чтобы иметь честь называться культурными и порядочными. Поэтому, когда прохладные, серые дни прошли, и вдруг наступило лето, и солнце стало возмутительно ярким — леди Кембл почувствовала себя шокированной.

— Это уж положительно что-то... Это Бог знает что! — Черви леди Кембл пошевеливались, высывались, но необузданное, некультурное солнце все так же оскалялось во весь рот. Тогда леди Кембл делала единственное, что ей оставалось: спускала все жалюзи и водворяла в комнатах свет более умеренный и приличный.

Леди Кембл с сыном занимала теперь три комнаты: две спальни наверху и столовую внизу, окнами на улицу. Все было теперь слава Богу. Этот случай с автомобилем леди Кембл понимала как явное милосердие Божие. Нет, что там: порядочных людей Бог не оставит.

И вот — теперь все как полагается: и ковер, и камин, и над камином портрет покойного сэра Гарольда (тот же самый кембловский, квадратный подбородок), и столик красного дерева у окна, и на столике ваза для воскресных гвоздик. Во всех домах на левой стороне улицы видны были зеленые вазы, на правой — голубые. Леди Кембл жила на правой стороне, поэтому на столике у нее была голубая ваза.

По возможности леди Кембл старалась восстановить тот распорядок, который был при покойном сэре Гарольде. С утра затягивалась в корсет, к обеду выходила в вечернем платье. Купила за пять шиллингов маленький медный гонг, и так как хозяйка-старушка звонить в гонг не умела, то леди Кембл всегда звонила сама: снимет гонг со стены в столовой, выйдет в коридор, позвонит — и опять в столовую. Пусть даже завтракает одна — Кембл в кабинете — все равно позвонит: главное — порядок.

К несчастью, обед и завтрак подавал не лакей, а старушка миссис Тэйлор, трясучая и древняя. И чтобы это выходило хоть мало-мальски прилично, леди Кембл стала старушку уговаривать: за обедом чтоб прислуживала в белых перчатках.

— И что это за причуды такие, Господи! Моешь руки — моешь, и все им мало... — Старушка обиделась и даже всплакнула, но за два лишних шиллинга в месяц — наконец согласилась.

Теперь было все в порядке — и леди Кембл позвала О'Келли обедать: пусть видит, что имеет дело не с кем-нибудь.

Было очень много хлопот. На столе стояли цветы и бутылки. Старушка Тэйлор выстирала свои белые перчатки. И только О'Келли...

Трудно поверить — но О'Келли явился на обед... в визитке. Весь обед был испорчен. Черви леди Кембл развертывались, шевелились.

— Я так рада, мистер О'Келли, что вы по-домашнему. Впрочем, смокинг при вашем складе лица...

О'Келли засмеялся:

— О, о своей наружности — я высокого мнения: она — исключительно безобразна, но она — исключительна, а это все.

Коротенький, толстый — он запыхался от жары, вытирая лицо пестрым платком. Рыжие вихри растрепались, четыре его руки непрестанно мелькали, он капал на жилет соусом и болтал без останову. Да, в сущности, Уайльд тоже был некрасив, но он подчеркивал некрасивое — и все верили, что это красиво. И затем: подчеркнутая некрасивость — и подчеркнутая порочность — это должно дать гармонию. Красота — в гармонии, в стиле, пусть это будет гармония безобразного — или красивого, гармония порока — или добродетели...

Но тут О'Келли заметил: невидимая узда поддернула желтую голову леди Кембл, бледно-розовые черви зловеще шевелились и ползли. О'Келли запнулся и бледно-розовые черви тоже остановились. Говорить в обществе об Уайльде! И если леди Кембл на этот раз пощадила О'Келли, то исключительно ради сына...

Старушка Тэйлор трясущимися руками в белых перчатках поставила ликер и кофе. Об этом ликере леди Кембл поразмыслила довольно. Но в конце концов решила отложить починку своих туфель на месяц. Без ликера было нельзя никак, так же, как без гонга или перчаток миссис Тэйлор.

Два раза леди Кембл подвигала О'Келли ликер — и два раза О'Келли подливал себе шотландскую виски. Все это вместе — и пестрые вихри, и ликер, и мелькающие в воздухе руки О'Келли — раздражало миссис Кембл. Черви куснулись:

— Вы, однако, оригинал: первый раз вижу человека, который с кофе пьет виски.

«Оригинал» — для леди Кембл звучало так же, как «некультурный человек», но мистер О'Келли был, по-видимому, слишком толстокож. Он секунду весело молчал — он даже и молчал весело — и потом вслух подумал:

— Вот в этакую жару, должно быть, хорошо в одной шотландской юбочке щеголять!

К слову вспомнил и рассказал: с приятелем шотландцем они ходили по Парижу — и парижские мальчишки, в конце концов, не выдержали, улучшили момент и подняли шотландцу юбочку — посмотреть, есть ли под ней что-нибудь вроде штанов, или...

Леди Кембл больше не могла — не могла. Разгневанно встала, пошла к двери и позвала с собой кипенно-белую кошку Милли:

— Милли, пойдемте отсюда... Милли, вам здесь нечего делать — зачем вы сюда — ваше молоко в коридоре...

Но испорченная Милли, по-видимому, была еще не прочь послушать рассказы О'Келли: она мяукала и упиралась. Леди Кембл нагнулась — выскочили ключицы, и лопатки, и еще какие-то кости — весь каркас разломанного зонтика. С Милли под мышкой леди Кембл проследовала в дверь.

Величественная и страшная в своем мумийном декольте, она появилась вновь только, когда О'Келли загромыхал в передней, разыскивая палку (которой не приносил). Вместе с О'Келли вышел и Кембл.

Небо было бледное, подобранное, вогнутое, какое бывает в сумерки после жарких дней. Кембл пожимался: не то от прохлады, не то от тех неминуемых разговоров — о порядочности и непорядочности, какие будут завтра с леди Кембл. Пожимался и все-таки шел вместе с О'Келли туда — в № 72. Главное, он был совершенно согласен с леди Кембл: в меблированных комнатах миссис Аунти — все было непорядочное, все было — не его, было шероховато и мешало, как мешал бы камень посреди асфальтовой Джесмондской улицы — и все-таки шел.

«Раз идет О'Келли... Надо же поддерживать с ним отношения...» успокаивал себя Кембл.

В № 72, по обыкновению, горел камин. Ди迪 сидела на ковре у огня: сушила, после мытья, кудрявые, по-мальчишечки подстриженные волосы. На полу были разбросаны листки какого-то письма — и над ними улыбался мопс Джонни.

О'Келли чуть не наступил на листки — наклонился и поднял.

— Не трогайте! — со злостью закричала Ди迪. — Говорю вам — не трогайте! Не смейте трогать! — Брови сошлись над переносцем, исчезло мальчишечье лицо — было лицо женщины, опаленное темным огнем.

О'Келли сел на низенький пуф и затараторил:

— Нехорошо, нехорошо, деточка. Только что леди Кембл нам внушала, что лицо порядочного человека должно быть неизменно, как... как вечность, как британская конституция... И кстати: слыхали ли вы, что в парламент вносится билль, чтобы у всех британцев носы были одинаковой длины? Что же, единственный диссонанс, который, конечно, следует уничтожить. И тогда одинаковые, как... как пуговицы, как автомобили «Форд», как десять тысяч нумеров «Таймса». Грандиозно — по меньшей мере...

Ди迪 — не улыбнулась. Все так же держала листочек в руке, и все так же крепко, как сплетенные пальцы — сдвинуты брови.

И не улыбался Кембл: что-то в нем накипало, накипало, было — и вот через край — и встал. Два шага к Ди迪 — и спросил — тоном таким, какого не должно было быть:

— Что это за письмо такое? Отчего к нему уж и притронуться нельзя? Это — это... — говорил — и слушал себя с изумлением: не он — кто же?

И одну секунду слушала с изумлением Диidi. Потом брови ее расцепились, она упала на ковер и захлебнулась смехом:

— О, Кембл, да, кажется, вы... Джонни, мопсик, ты знаешь — Кембл-то... Кембл-то...

7. РУЛЬ ИСПОРЧЕН

Наконец-то оно кончилось — дело о разводе, и на Диidi никто теперь не имел прав, исключая, конечно, фарфорового мопса Джонни.

Событие праздновали втроем: О'Келли, Диidi и Кембл. Обедали в отдельном кабинете, пили, О'Келли влезал на стул и произносил тосты, махал множеством рук, пестрело и кружилось в голове. Домой как-то не хотелось: решили поехать на бокс.

Такси летел, как сумасшедший — или так казалось. На поворотах кренило, и несколько раз Кембл обжегся об колено Диidi. Такси летел...

— А знаете, — вспомнил Кембл, — мне уж который раз снится, будто я в автомобиле, и руль испорчен. Через заборы, через что попало, и самое главное...

А что самое главное — рассказать не успел: входили уже в зал. Крутой веер скамей был полон до потолка. Опять было Кемблу тесно и жарко, обжигался, и будто все еще летел такси.

«Не надо так много пить...»

— Послушайте, Кембл, вы о чем думаете? — кричал О'Келли. — Вы слышите: сержант Смис, чемпион Англии. Вы понимаете: Смис! Да смотрите же, вы!

Из двух противоположных углов четырехугольного помоста они выходили медленным шагом. Смис — высокий, с крошечной светловолосой головой: так, какое-то маленькое, ненужное украшение к огромным плечам И Борн из Джесмонда — с выдвинутой вперед челюстью: вид закоренелого убийцы.

— Браво, Борн, браво, Джесмонд! Сержант Смис, браво!

Топали, свистели, клокотали все двадцать рядов скамей, шевелилась и переливалась двадцать раз окрутившаяся змея — и вдруг застыла и вытянула голову: судья на помосте снял цилиндр.

Судья, поглядывая из-под седого козырька бровей, объявлял условия:

— Леди и джентльмены! Двадцать кругов по три минуты и полминуты отдыха после каждого круга — согласно правилам маркиза Квинзбэри...

Судья позвонил. Смис и Борн медленно сходились. Борн был в черных купальных панталонах, Смис — в голубых. Улыбнулись, пожали друг другу руки: показать, что все, что будет — будет только забавой культурных и уважающих друг друга людей. И тотчас же черный Борн выпятил челюсть и закрутился около Смиса.

— Так его, Джесмонд! Вот это панч! — закричали сверху, когда Борн отпечатал красное пятно на груди чемпиона Англии.

Двадцатиколечная змея обвивалась теснее, дышала чаще, и Кембл видел: шевелилась и вытягивалась вперед Диidi — и он сам вытягивался, захваченный кольцами змеи.

Судья с козырьком бровей прозвонил перерыв. Черный и голубой — оба вытянулись на стульях, каждый в своем углу. Широко раскрыв рты — как выброшенные рыбы; спешили за полминуты наглотать побольше воздуху. Секунданты сутились, кропили им языки водой, махали полотенцами.

Полминуты, прошло. Снова схватились. Смис улучил секунду — и тяжелый кулак попал Борну в нос, снизу вверх. Борн спрятал лицо под мышку к Смису и закрутился вместе с ним — спаси лицо от ударов. Из носу у Борна шла кровь, окрашивала голубые панталоны Смиса, крутились и брахтались два голых тела. И все судорожней вытягивалась змея — впитать запах крови, кругом топали и ревели нечленораздельное.

— ...Поцелуй его, Борн, в подмышку, очень вкусное местечко! — выкрикнул пронзительный мальчишеский голос.

Диди — раскрасневшаяся, взбудороженная — дергала за рукав Кембла. Кембл оторвался от помоста и посмотрел на нее — с ноздрями, еще жадно расширенными, и квадратным, свирепо выдвинутым подбородком. Он был новый, и какой-то маленькой показалась себе Диidi... И... что хотела спросить? забыла...

— Да смотрите же! — крикнул О'Келли.

Кончалось. Качался от ударов Борн, и медленно, медленно ноги егомякли, таяли, как воск — и он гулко рухнул.

Джесмонд был побит — Джесмонд вопил:

— Неверно! Он ударил, когда Борн уже падал...

— Долой Смиса! Неправильно, мы видели!

Смис стоял, закинув маленькую головку, и улыбался: ждал, пока затихнут.

— ...И еще улыбается! Что за наглость такая! — Диidi горела и дрожала. Повернулась к Кемблу, чем-то колюче-нежным ужалила его локоть. — Была бы я как вы — сейчас же бы вот его пошла и побила...

Кембл на секунду посмотрел ей в глаза — и сбесившийся автомобиль вырвался и понес.

— Хорошо. Я иду. — Он двинулся к трибуне.

Было это немыслимо, н е д о л ж н о было быть, Кембл сам не верил, но остановиться не мог: руль был испорчен, гудело, неслось через что попало и... страшно или хорошо?

— Послушайте, не на самом же деле... Кембл, вы спятили? Держите же, держите его, О'Келли!

Но О'Келли только улыбался молча, как фарфоровый мопс Джонни.

Судья объявил, что мистер Смис любезно согласился на пять кругов с мистером Кембл из Джесмонда. На помосте появилось громадное, белое тулово Кембла — и Джесмонд восторженно заревел.

Мистер Кембл из Джесмонда был выше и тяжелее Смиса, и все-таки с первого же круга стало ясно, что выходка его была совершенно безумной. Все так же улыбаясь, Смис наносил ему удары в бока и в грудь — только ухало гулко где-то в куполе. Но стоял Кембл очень крепко, упористо расставив столбянные ноги и упрямо выдвинув подбородок.

— Послушайте, О'Келли, ведь он же его убьет, ведь это же ужасно... — не отрывала глаз и бледнела Диidi, а О'Келли только молча улыбался знающей улыбкой.

На третьем круге, весь в красных пятнах и в крови, Кембл еще держался. В тишине чей-то восторженный голос сверху крикнул:

— Ну и морда — прямо чугунная!

В зале фыркнули. Диidi негодующе оглянулась, но уже опять была тишина: начался четвертый круг, На этом круге, в самом же начале, Кембл упал.

Диidi вскочила, с широко раскрытыми глазами. Судья поглядывал из-под седого козырька бровей и отсчитывал секунды:

— Раз, два, три, четыре...

На последней секунде — на девятой — Кембл упрямо встал. Получил еще удар — и все поплыло, поплыло, и последнее, что увидел: бледное лицо Диidi.

* * *

Смутно помнил Кембл: куда-то его везли, Диidi плакала, О'Келли смеялся. Потом чем-то поили, заснул — и проснулся среди ночи. Светил месяц в окно, и ухмылялся в лицо Кемблу безобразный мопс Джонни.

Комната Диidi. Ночью в комнате Диidi... Бред? Потом медленно, сквозь туман, продумал:

«Правда, нельзя же было везти домой — таким...»

Язык был сухой, пить страшно хотелось.

— Диidi! — робко позвал Кембл.

С диванчика поднялась фигура в черной пижаме:

— Ну, наконец-то вы! Кембл, милый, я так рада, я так боялась... Вы меня можете простить? — Диidi села на кровать, взяла руку Кембла в свои горячие маленькие руки. Пахло левкоями.

Кембл закрыл глаза. Кембла не было — была только одна рука, которую держала Диidi: в этой руке на нескольких квадратных дюймах собралось все, что было Кемблом, — и впитывало, впитывало, впитывало.

— Диidi, я ведь пошел — потому что — потому что... — захватило горло вот тут — и тяжесть такая — не стронуть с места.

Диidi нагнулась, серьезная, девочка-мать:

— Смешной! Я знаю же. Не надо говорить...

Ужалила Кембла двумя нежными остриями — быстро клюнула в губы — и уже все ушло, и только запах левкоя, как бывает в сухмень, — едкий и сладостный.

Всю ночь фарфоровый мопс сторожил Кембла усмешкой и мешал ему думать. Кембл мучительно морщил лоб, рылся в голове. Там, в квадратных коробочках, были разложены известные ему предметы, и в одной, заветной, вместе лежали: Бог, британская нация, адрес портного и будущая жена — миссис Кембл похожая на портрет матери Кембла в молодости. Все это были именно предметы, непреложные, твердые. То, что было теперь, — ни в одну коробочку не входило: следовательно...

Но руль был явно испорчен: Кембла несло и несло, через «следовательно» и через что попало...

Утром Кембл проснулся — Диidi уже не было, но ею пахло, и лежала на стуле черная пижама, Кембл с трудом поднялся, натянул вчерашний свой смокинг. Долго смотрел на пижаму и крепился, потом встал на колени, оглянулся на дверь и погрузил лицо в черный шелк — в левкои.

Диidi пришла свежая, задорная, с мокрыми растрепанными кудрями.

— Диidi, я думал всю ночь, — Кембл твердо расставил ноги, — Диidi, вы должны быть моей женой.

— Вы так думаете? Должна? — затряслась Диidi от смеха. — Ну, что ж, если должна... Только

вы, ради Бога, лежите, доктор велел вас держать в постели... Ради Бога... Вот так...

8. ГОЛУБЫЕ И РОЗОВЫЕ

Бокс был в субботу, а в понедельник имя Кембла уже красовалось в «Джесмондской Звезде».

«НЕОБЫЧАЙНЫЙ СЛУЧАЙ

В БОКСИНГ-ХОЛЛЕ!

Боксер-аристократ

Эстрада, где мы еще на прошлой неделе видели негра Джонса, впервые была украшена появлением боксера из высокоаристократической, хотя и обедневшей семьи...

Мистер Кембл (сын покойного Г.-Д. Кембла) с удивительной стойкостью выносил железные удары Смиса, пока наконец на четвертом круге не пал жертвой своего опрометчивого выступления. Мистер Кембл был вынесен в бессознательном состоянии. Среди друзей мистера Кембла выделялась туалетом звезда Эмпайра Д***».

В этот день в Джесмонде жизнь была ключом. О погоде почти не говорили властителем умов был Кембл, говорили только о скандале с Кемблом. Останавливались около дома старушки Тэйлор и заглядывали в окна Кемблов, как бы ожидая некоего знамения, но знамения не появлялось. Тогда заходили к леди Кембл и с радостным видом выражали ей соболезнование.

— Ах, какой ужас, какой ужас! Но разве он так сильно пострадал, что нельзя было довезти к вам?

Черви миссис Кембл извивались.

— Бедная миссис Кембл. Вы даже лишены возможности навестить его! Ведь вы в тот дом не пойдете, не правда ли?

— А потом — та женщина! Дорогая миссис Кембл, мы понимаем...

Черви миссис Кембл вились и шипели на медленном огне. Голубые и розовые любовались; потом почему-то крутились около дома викария Дьюли — тонким нюхом чуяли что-то здесь; потом шли к тому дому и терпеливо смотрели в окно с опущенной занавеской, но занавеска не подымалась...

Впрочем, относительно дома викария Дьюли голубые и розовые ошибались: то, что там произошло, — были сущие пустяки. За утренним завтраком миссис Дьюли читала газету и нечаянно опрокинула чашку кофе — ведь это со всяким может случиться. Главное, что скатерть была постлана только в субботу, — и только в следующую субботу полагалась по расписанию новая. Немудрено, что викарий был в дурном расположении духа и писал комментарии к «Завету Спасения», а миссис сидела у окна и смотрела на красные трамваи.

Затем она отправилась в тот дом, спросила о чем-то хозяйку и немедленно пошла назад — быть может, получивши ответ, что при мистере Кембле находится та женщина или что мистеру Кемблу значительно лучше. Но это, конечно, только предположения, — и единственno достоверно, что ровно в три четверти первого миссис Дьюли была дома и ровно в три четверти первого начался второй завтрак: ясно, все обстояло благополучно.

Все шло согласно расписанию, и вечером у викария состоялось обычное понедельничное собрание Корпорации Почетных Звонарей прихода Сент-Инох и редакции приходского журнала. Было несколько розовых и голубых; был неизменный Мак-Интош в сине-желто-зеленой юбочке; леди Кембл не пришла.

Все сидели как на иголках, у всех на языке был Кембл — Кембл. Но с викарием очень-то не поспоришь: перед ним лежало расписание вопросов, подлежащих обсуждению — семнадцать параграфов, — и уж нет, ни одного не пропустит.

— Господа, прошу внимания: теперь самый серьезный вопрос...

Это был вопрос о поднятии доходности «Журнала Прихода Сент-Инох». Викарий только что приобрел для журнала серию «Парижских приключений Арсена Лишена». Впоследствии — это, конечно, повысит тираж, но пока нужно возместить расход, нужны объявления, объявления и объявления.

— Мистер Мак-Интош, мы ждем вашей помощи!

Мистер Мак-Интош торговал дамским бельем, у него были прекрасные связи. Он быстро дал три адреса и старательно выискивал еще,

— Ба! — вспомнил он. — А резиновые изделия Скрибса?

Викарий поднял брови: здесь было одно серьезное обстоятельство.

— Мистер Мак-Интош, помните: мы ручаемся за качество рекомендованного. «Журнал Прихода Сент-Инох» не может...

— О, за изделия Скрибса я ручаюсь... — горячо возразил Секретарь Корпорации Почетных Звонарей. — Я самолично...

Но викарий остановил его — легчайшим, порхающим движением руки, каким в проповедях изображал он восшествие праведной души к небу. Изделия Скрибса были приняты; викарий записывал соответствующие адреса...

Поздно, когда ее уже перестали ждать, пришла леди Кембл. Как и всегда, голова была подтянута вверх невидимой уздой, и только лицо — еще мумийней, и еще острее вылезали кости — каркас сломанного ветром зонтика...

Как божьи птицы-голуби, слетевшиеся на зерна, розовые и голубые закрутились около леди Кембл: ну что? ну как?

Черви лежали недвижные, вытянутые — и наконец с трудом дрогнули:

— Я только думаю: что сказал бы мой покойный муж, сэр Гарольд...

Она подняла глаза вверх — к обиталищу Бога и сэра Гарольда, из глаз выползли две разрешенные кодексом слезинки, немедля принятые на батистовый платок.

Две слезинки почтены были глубоким молчанием. В стороне от всех миссис Дьюли мяла и разглаживала голубоватый конверт. Молчали: что же тут придумаешь и чем поможешь?

И вдруг вынырнула футбольная голова Мак-Интоша: он был как всегда незаменим.

— Господа, это тяжело — но мы должны просить викария пожертвовать собой. Всякий, кто слышал вдохновенную проповедь викария на воскресной службе, поймет, что только каменные сердца могли бы... Господа, мы должны просить викария, чтобы он пошел в тот дом, и я уверен — мы уверены...

— Мы уверены! — подхватили розовые и голубые.

Прежде чем ответить, викарий сделал паузу и высморкался, что стояло у него в рубрике: искреннее волнение. Что же — он всегда готов на жертвы. Но уж если и это не поможет — тогда придется...

Миссис Дьюли мяла и разглаживала узкий конверт, озябло поводила плечами: вероятно, простудилась. В жаркую пору, знаете, это особенно легко.

Вокруг порхали, поклевывали розовые и голубые.

9. ХОРОШО-С

Диди встала позже, чем обычно, — было уже за полдень, что-то напевала и расчесывала перед зеркалом непослушные мальчишеские кудри. На ней была любимая черная пижама: корсаж разрезан до пояса и слегка стянут переплетом шнура, и сквозь черный переплет — розовое. В этом костюме и с подрезанными волосами — девочка-мальчик — она была как средневековый паж: из-за таких строгие дамы легко забывали рыцарей и так охотно выкидывали веревочную лестницу с балкончика башни.

В соседнем номере тяжело ворочался Кембл: третий день освободилась комната рядом с Диidi — и третий день он здесь жил — или нет: куда-то летел на взбесившемся автомобиле, летел через что попало — летел как во сне. Впрочем, скоро все это кончится. Вот только заработать еще фунтов тридцать, и тогда можно будет снять один из тысячи одинаковых домиков — и снова под ногами будет твердо.

— Миленький Джонни, — беседовала Диidi с фарфоровым мопсом, — уж ты, пожалуйста, на меня не сердись, если я немножко выйду замуж. Ведь ты меня знаешь? Ну, так и молчи, и

улыбайся, а теперь...

В № 72 стучали. Должно быть — Нанси из нового revue.

— Нанси? Войдите.

Дверь скрипнула, Ди迪 вышла из-за ширмочки и увидела — викария Дьюли. Он вскинул вверх брови изумленными треугольниками, издал негодящий: ах! — и попятился к выходу в коридор.

— Я чрезвычайно извиняюсь — я думал, что уже раз больше двенадцати, когда уже все... — Он взялся за ручку двери, но за ту же ручку схватилась и Ди迪.

— Нет, нет, пожалуйста, не стесняйтесь, ради Бога — садитесь. Это мой обыкновенный утренний костюм — и не правда ли, очень милый фасон? Я так много о вас слышала — я очень рада, что вы наконец...

Что ж, надо было собой жертвовать до конца: викарий сел, стараясь не глядеть на обычный утренний костюм.

— Видите ли... Мисс? Гм... Ди迪... Я пришел по поручению одной несчастной матери. Вы, конечно, не знаете, что значит иметь дитя...

— О, мистер Дьюли, но у меня есть... Вот мой единственный Джонни, и я его страшно люблю... — Ди迪 поднесла мопса к треугольно поднятым бровям викария Дьюли. — Не правда ли, какой милый? У-у, Джонни, улыбнись! Поцелуй мистера Дьюли, не бойся — не бойся...

Холодными улыбающимися губами Джонни приложился к губам викария. И вследствие ли неожиданности — или вследствие прирожденной вежливости, но только викарий ответил на фарфоровый поцелуй Джонни.

— О, какой вы милый! — Ди迪 была в восторге, но викарий держался совершенно другого мнения. Он негодующе вскочил:

— Я зайду к вам, миссис... миссис, когда вы будете не так весело настроены. Я вовсе не расположен...

— О, мистер Дьюли, к несчастью — я, кажется, всегда весело настроена.

— В таком случае...

Мистер Дьюли отправился в соседний номер — к Кемблу. Здесь почва была более благодарная. Кембл выслушал всю речь мистера Дьюли, усиленно морщил лоб и кивал: да, да. Впрочем, иначе и быть не могло: речь викария была строгого логического, и он увлекал за собой Кембла, как по рельсам, викарий торжествовал...

Но на последней станции неожиданно произошло крушение, Кембл соскочил со стула.

— Мистер Дьюли, прошу вас не выражаться так о... о Ди迪, которую я просил быть моей женой.

— Же-женой? — но тотчас же викарий оправился: — Но ведь вы же все время соглашались со мной, мистер Кембл?

— Да, соглашался, — мрачно кивнул Кембл.

— Так где же у вас логика, мистер Кембл?

— Логика? — Кембл сморщился, потер лоб — и вдруг, нагнув голову, как бык, пошел прямо на викария. — Да, женой! Я сказал — моей женой... Да! И простите — я... я хочу остаться один, да!

— Ах, так? Хо-ро-шо-с! — Викарий вышел с высоко поднятыми бровями согласно рубрике: холодное негодование.

10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ

Был уже июнь. Деревья в парках, к сожалению, потеряли свой приличный, подстриженный вид: цвели олеандры, вылезали изо всех сил, как попало, в абсолютном беспорядке. По ночам заливалось птичье, совершенно не считаясь с тем, что в десять часов порядочные люди отходили ко сну. Порядочные люди сердито хлопали окнами и высовывались в белых колпаках.

Впрочем, надо сознаться, анархический элемент был даже и в Джесмонде, и этот элемент — происходившее одобрял всецело. Умудрялись избегнуть бдительного взора парковых сторожей и после десяти оставались в кустах слушать пение птиц. Кусты интенсивно жили всю ночь, шевелились, шептались, а месяц всю ночь разгуливал над парком с моноклем в глазу и поглядывал вниз с добродушной иронией фарфорового мопса.

Все это производило какую-то странную болезнь: и кусты, и жара, и месяц, и олеандры — все вместе. Ди迪 капризничала и хотела неизвестно чего, и Кембл терялся.

— Жарко. Я не могу... — Ди迪 расстегивала еще одну пуговицу блузы, и перед Кемблом мерно колыхались волны: белые — батисты, и еще одни — розовые, и еще одни, шумные и красные — в голове Кембла.

Кембл старался занять Ди迪 чем-нибудь интересным:

— ...Знаете, Ди迪, на Кинг-стрит в окне я вчера видел электрический утюг. Такая прелесть, и всего десять шиллингов. Я думаю, нам уже можно бы начать обзаведение.

Но Ди迪 даже и на это отзывалась очень вяло. Нет, она, кажется, больна.

Спускала шторы. Ложилась в кровать.

— Посмотрите, Кембл: у меня жар. Ну вот тут — ведь правда? Нет, глубже — сюда... — клала руку Кембла.

И опять весь Кембл собирался на нескольких квадратных дюймах руки и слышал, издали откуда-то: мерными толчками колыхалась кровь и рвалась наружу, минута еще...

Но у Кембла, слава Богу, руль опять в руках, и он твердо правит к маленькому домику с электрическим утюгом. Кембл вытаскивал руку.

— Да, кажется, жар. Это — ничего, просто — погода...

На камине — мопс Джонни и в окне — месяц с моноклем улыбались одинаковой улыбкой. Кембл сердито вставал и повертывал Джонни носом к стене.

— Нет, уж пожалуйста — уж пожалуйста... Лучше дайте его мне, протягивала руки Диidi.

Нырял месяц в легких батистовых облачках, тускнел и сейчас же опять усмехался, и в ответ — мерцало и менялось каждую секунду лицо Диidi, сцеплялись и опять расцеплялись брови, думала, думала... А о чем теперь думать? Все квадратно-твёрдо впереди: и маленький домик, и сияющий белизною порог, и ваза для воскресных гвоздик — зеленая или голубая

— Джонни, миленький мой Джонни, — обнимала Диidi фарфорового мопса. Поцелуй меня, Джонни. Так... еще. Еще! Еще!

Целовала мопса, и он становился все теплей, оживал. Душила его своими духами — сухим от бездождя, сладостно-едким левкоем. Топила насмешливую морду Джонни в белых и розовых волнах и называла его странными именами.

А Кембл сидел молча, упрямо выставлял месяцу каменный подбородок — и так был похож на портрет покойного сэра Гарольда.

О'Келли теперь редко заходил, но если заходил — то все такой же: заспанный, рассстегнутый, злой и веселый. Кембл серьезно ему рассказывал:

— Двадцать фунтов уже есть. Еще тридцать — и на пятьдесят уж будет можно купить всю мебель...

— А без мебели — никак нельзя? — ухмылялся О'Келли.

— О да, конечно — нельзя, — невозмутимо серьезно отвечал Кембл. — И вовсе нечего смеяться: что тут смешного? Все совершенно логично.

— Ну, голубчик Кембл, на логике надо ездить умеючи, а то, чего доброго, разнесет.

И Бог знает к чему — рассказывал О'Келли про свою тетю Иву: на старости лет поперхнулась умом и стала питья бояться — как бы не выпить какую бациллу. Бациллу не выпила — а от непитья померла очень скоро.

Понемногу начала прислушиваться Ди迪, медленно расцеплялись брови, медленно просыпался смешливый паж. Вот подошел О'Келли к камину, взял мопса Джонни.

— Ну до чего он на меня похож, а? На него глядя — я мог бы без зеркала бриться.

Брови совсем расцепились — Ди迪 хотела

— Это — просто гениально, если вы сами придумали Ну, сознайтесь, сами или нет? Ну — сознавайтесь? — тряслась О'Келли, беспомощно болталась его голова, из кармана сыпались свертки.

— Ага, фисташка? Ага, устрицы? А шампанское есть?

Ну, как же не быть? И на зеленом ковре начинался веселый пикник. О'Келли глотал устриц и закусывал англичанами. Ох, уж эти англичане!

— ...Праведны как... как устрицы, и серьезы — как непромокаемые сапоги. Боже ты мой — англичане! Я бы всех их — лимонным соком — этак, вот этак... Ага, закопошились?

Потихоньку открывалась дверь — и появлялась Нанси. Она была наполовину ирландка, и поэтому О'Келли приветствовал ее особенно сердечно. А кроме того, она.

Нанси была в одной нежно-розовой рубашке и с мохнатой простыней в руках. С невиннейшим видом она обходила все комнаты и предупреждала:

— Пожалуйста, не выходите в коридор — я иду брать ванну...

Это было великолепно, смеялся даже Кембл. А он смеялся по-особенному уже все перестали, и только он один вспомнит и опять зальется — раскатился тяжелый грузовик — не остановить никак.

Завернувшись в простыню, Нанси милостиво соглашалась до своей ванны принять участие в пикнике. Пенился и переливался через край О'Келли. Тряслась Ди迪 подстриженными кудряшками — проказливый девочко-мальчик, вытягивала губы, представляла, как викарий Дьюли поцеловал мопса.

И опять — все уже забыли, замолкли, а Кембл — вспомнит и засмеется. И уже один в своей комнате, все разошлись — а он опять вспомнит и засмеется.

Все тихо. Душная ночь, нечем дышать, накрыла с головой — как стеганым одеялом. Нет, не уснут. ь

Ди迪 брала с комода холодного мопса. Целовала его, пока он не становился теплым, живым.

А Кемблу снился электрический утюг: громадный, сверкающий, ползет и приглаживает все, и не остается ничего — ни домов, ни деревьев, только что-то плоское и гладкое — как зеркало.

Любовался Кембл и думал:

«И только ведь десять шиллингов!..»

11. СЛИШКОМ ЖАРКО

Викарий Дьюли не упускал случая внедрить в сознание Джесмонда свой «Завет». В субботу он выступал на митинге Армии Спасения. Если государство еще коснеет в упрямстве и пренебрегает своими обязанностями, то мы, мы каждый из нас — должны гнать ближних по стезе спасения, гнать — скорпионами, гнать — как рабов. Пусть будут лучше рабами Господа, чем свободными сынами сатаны...

Речь была потрясающая, и джесмондская секция Армии Спасения решила взяться за дело немедленно, завтра же.

Это было воскресенье — сияющее, солнечное, жаркое. В половине девятого утра Армия Спасения тронулась из штаб-квартиры. Со знаменами, гимнами, барабанным боем, мерным военным шагом двести воинов Армии Спасения прошли по городу. И у каждой двери длинная, строгая женщина-офицер, в синей лопоухой шляпе останавливалась и колотила молотком.

— Господин Христос призывает вас в церковь!

— Гелло! Господин Христос призывает вас... Гелло, гелло! — колотила до тех пор, пока внутри не просыпались, не начинали выглядывать изумленные лица.

Церковь Сент-Инох сегодня была полна. Викарий вернулся домой счастливо-утомленный. За ним почтительно следовал Секретарь корпорации Почетных Звонарей Мак-Интош, восхищенно покачивая головой: какое красноречие, какая неистощимая энергия!

— Итак, дорогой Мак-Интош, сегодня — ваша очередь, — прощался с ним викарий. — Пусть это — тяжелая обязанность, но это — обязанность.

Мистер Мак-Интош отправился гулять. Он выбрал для прогулки не очень живописное место: ту улицу, где помещались меблированные комнаты миссис Аунти. По-видимому, иногда ему приходили в голову странные фантазии.

А викарий, позавтракав, уселся в кресло. Было очень жарко. Сквозь верхние граневые стекла в столовую сыпались десятки маленьких отраженных солнц. Викарий любовался: удобные портативные и неяркие солнца. Сидя задремал: это входило в воскресное расписание. Лицо и во сне хранило выражение изысканно-вежливое; все было готово, чтобы в любой момент открыть глаза и сказать: прекрасная погода, не правда ли?

Армия Спасения не пощадила, конечно, и артистических меблированных комнат миссис Аунти, переполошила обитателей ни свет ни заря. Обитатели не выспались, громче чем нужно хлопали дверью и громче чем нужно плескались в ванной.

Диди вышла к завтраку со сжатыми бровями. За завтраком с некоторым изумлением, как будто видя в первый раз — внимательно оглядела Кембла, хотя он был такой же, как всегда: громадный, непреложный, прочный.

Чтобы поскорее добрать нехватавшие тридцать фунтов, Кембл брал теперь частную работу на дом. Тотчас же после кофе он отстегнул манжеты и отправился в свою комнату заниматься.

Сдвинувши брови, Диди сидела рядом и гладила мопса. Солнце поднялось и назойливо стучало в окно. Кембл встал и задернул шторы.

— А я хочу солнца, — вскочила Диди.

— Но, дорогая, ведь вы знаете, я работаю для того, чтобы мы могли скорее начать покупку мебели — и затем...

Диди вдруг засмеялась, недослушав, и ушла к себе. Поставила мопса на камин, посмотрела в очаровательно-безобразную морду.

— Как ты думаешь, Джонни?

Джонни явно думал то же самое. Диди стала поспешно прикалывать шляпу...

А через десять минут — взволнованный блестящим успехом своей прогулки Мак-Интош стоял перед миссис Дьюли.

— Нам надо поехать в Санди-Бай, — таинственно подчеркивал он «надо».

Пенсне миссис Дьюли на секунду вспыхнуло нехрустально:

— Вы — вы уверены?

Мистер Мак-Интош только обиженно пожал плечами и взглянул на часы:

— Нам до поезда семь минут.

Второпях миссис Дьюли задела рукавом пенсне, пенсне упало. Миссис Дьюли прочнее укрепила пенсне и снова стала миссис Дьюли. Теперь можно ехать.

...Не было спасения от солнца и в Санди-Бай: слепило, кипятило кровь, кипел и бился пеннобелый прибой.

О'Келли и Диди лежали на горячем песке. Вероятно, от солнца — у Диди в висках стучало, и,

вероятно, от солнца — О'Келли с трудом подыскивал слова.

— Слишком жарко. Давайте купаться, — встала Диidi.

Бледно-желтый от зноя песок. Яшмово-зеленые, с белокипенной оторочкой, шипучие волны. Прыгающие на волнах головы в оранжевых, розовых, фиолетовых чепцах. Приглушенные волнами солнце и смех.

Вода освежала, не хотелось выходить из воды. Диidi говорила себе:

«Нет, только выкупаемся — и сейчас же вернемся домой...»

Но волны уносили все дальше. Набегали, подхватывали, крутили, и так хорошо не бороться, не думать, покоряться.

Над водой видна была только голова О'Келли — безобразная, усмехающаяся голова мопса. Выкрикивал что-то плохо слышное в шуме волн:

— ...всю ночь... хорошо?

Диidi — слышала она или нет? — кивала головой.

Когда после купанья вошли в кафе пообедать — О'Келли за одним из столиков увидал миссис Дьюли и с ней футбольную, глубокомысленную голову Мак-Интоша. О'Келли подбежал к ним:

— Вы? Какими судьбами вы — здесь? Я так рад, миссис Дьюли, что вы обызвестились еще не совсем...

— Обызвестилась?

— Да, я только что, вот, рассказывал... своей dame. Через несколько лет любопытный путешественник найдет в Англии обызвестленных неподвижных людей, известняк в форме деревьев, собак, облаков. Если не случится до тех пор землетрясения или чего-нибудь такого...

Пенсне миссис Дьюли холодно блестело. Она с усмешкой поглядывала на какой-то странный сверточек с ручкой: сверточком О'Келли оживленно размахивал.

— Это и есть, мистер О'Келли, ваш знаменитый надувной чемодан?

О'Келли немного смутился — на четверть секунды.

— О, вы знаете: хороший охотник без ружья не выйдет. Просто по привычке... Так вы в пять часов? Я надеюсь, в поезде встретимся, если не опоздаю.

— Буду очень рада. — Стекла миссис Дьюли сверкали

Неаккуратность О'Келли хорошо известна: к пятичасовому О'Келли, конечно, опоздал.

12. РОЖДЕНИЕ КЕМБЛА

Сразу спала жара, стоял молочный, мокрый туман. Особенно слышно было ночью: о подоконник мокали неумолчно отчетливые капли, как часы, отбивали кем-то положенный срок.

И когда этот срок настал — а случилось это как раз в день рождения Кембла, — было получено письмо в узком холодновато-голубом конверте. Письмо было без подписи.

«Милостивый Государь, будучи Вашими друзьями, мы не можем не осведомить Вас, что известные Вам мистер К. и миссис Д. дурно пользуются Вашим доверием, в чем Вы будете иметь случай достоверно убедиться».

Голубоватый узкий конвертик был чем-то знакомый, и подумавши — Кембл вспомнил. Все это было очень просто и ясно: чистейшая выдумка, Кембл уверен был непреложно.

И все-таки — шел в контору, и было как-то нехорошо: будто выпил чашку чаю и увидел на дне муху, муху выкинул, но все-таки... А может быть — это просто от тумана: душный, как вата, и закутанные странно звучат шаги — как будто кто-то неотступно идет сзади.

В конторе О'Келли встретил Кембла шумно и радостно — был еще шумней и пестрой, чем всегда. Оказалось, О'Келли не забыл, что сегодня — день не простой, а день рождения Кембла, и готовил Кемблу какой-то подарок, а какой — обнаружится вечером. И затем Сесили — с улыбкой пасхального барашка, поднесла Кемблу букет белых лилий. Кембл прямо растрогался.

А когда вернулся домой, его ждал еще один подарок: Ди迪 сама — сама! предложила пойти по магазинам и начать те покупки. И Кембла муха без следа исчезла.

— Утюг. — засиял Кембл. — Нет, сначала утюг, а уже потом.

— Утюг — тяжелый, надо под конец, чтобы не таскать его все время, резонно возражала Ди迪.

Но Кембл настоял на своем, купили утюг, и Кембл радостно его таскал, и вовсе не было тяжело легонький, как перышко, честное слово.

Зажигались огни, густел туман. Это был день рождения Кембла настоящего рождения, начиналась новая жизнь. И новый был Джесмонд в тумане невиданный, незнакомый город. Необычно и весело звучали шаги — будто кто-то неотвязно ступал, сторожил сзади.

И еще непременно хотел Кембл купить белья для Ди迪. Ди迪 отнекивалась, но Кембл и слышать не хотел нынче — день его рождения.

— Для вашей жены?

— Нет... То есть.. — Кембл смущенно улыбался приказчику.

Прозрачные, шелковые — тело через них должно нежно розоветь — сорочки и панталоны. Было радостно-стыдно перевертывать и разглядывать все это вместо с нею, с Ди迪. С каждой купленной вещью Ди迪 все больше становилась его женой.

Уши у Кембла горели, и он заметил: Ди迪 прятала лицо. Кембл засмеялся.

— Ну же, Ди迪, будьте же храброй: посмотрите на меня... — хотелось видеть и у неё тот же сладкий стыд. Но Ди迪 лица так и не показала.

Вечером заявил О'Келли с массой свертков и в сопровождении мисс Сесили.

— ...Чтобы было как в ноевом ковчеге, — объяснил О'Келли. Повернулся к камину — и всплеснул руками: на камине, рядом с мопсом Джонни — красовался сверкающий утюг. — Рядом с Джонни? — с укором посмотрел он на Ди迪.

Потом обернулся к Кемблу:

— Итак, решено: «я твой навеки» — не правда ли, Кембл? Что касается меня, то я просто глуп: никогда не мог понять, как можно одну и ту же любить каждый день — как можно одну и ту же книгу читать каждый день? В конце концов — это должно сделать малограммовым...

На Ди迪 шампанское сегодня действовало странно: она сидела у стола, вытаскивала из блокнота листки почтовой бумаги и с наслаждением разрывала их на мелкие кусочки. Сесили — та раскраснелась от вина и боролась с О'Келли из-за четвертой пуговицы: три пуговицы на блузке она позволила расстегнуть, но четвертую...

— Нет, это неприлично, — с серьезной и невинной физиономией пасхального барашка отвечала Сесили.

— Но отчего же именно четвертую неприлично? — хотела О'Келли. — Отчего же три было можно?

Ди迪 все еще рвала бумагу. О'Келли отобрал у неё блокнот и попросил тишины. Главное, на что он хотел бы обратить внимание слушателей, — была почтовая бумага с линейками. На иной бумаге — в Джесмонде писем не пишут, и это очень хорошо, так как линейки — те же самые рельсы, а мысль в Джесмонде должна двигаться именно по рельсам и согласно строжайшему расписанию. Мудрость жизни — в цифрах, а потому он приветствует трехпуговичную мораль обожаемой Сесили. И так как он, О'Келли, и никто другой, был Змием, соблазнившим Кембла сойти с рельс прихода Сент-Инох, то...

О'Келли вытащил чек на пятьдесят фунтов и протянул Кемблу:

— ...Чтобы вы могли завтра же купить все свои остальные утюги...

И так как Кембл колебался, О'Келли добавил:

— Разумеется, взаймы. И я требую, чтобы вы сегодня же — сейчас же написали мне вексель. Ну?

Это было головокружительно хорошо: значит — хоть завтра же... Руки у Кембл а дрожали, и голос дрожал:

— Я не умею говорить как вы, О'Келли... Но вы понимаете... Вы мой единственный друг, который — единственный...

И теперь — это было совершенно нелепо — Ди迪 захотела — и все выше и громче — сорвалась — и сквозь слезы:

— Не смейте брать, Кембл! Не смейте брать у него деньги! Не смейте, я не хочу, не хочу!

Впрочем, скоро она успокоилась и затихла. Вероятно, это был просто каприс: никаких резонов — почему не хотела — Ди迪 сказать не могла.

— Вот видите: ваше шампанское, — укоризненно-ласково сказал Кембл мистеру О'Келли, О'Келли уходил с пасхально-барашковой Сесили под руку.

День рождения Кембла кончился — и завтра начнется новая жизнь: завтра искать маленький домик.

13. ТУМАННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Ди迪 опять обещалась зайти к мистеру О'Келли после театра, и О'Келли бегал по цветочным магазинам, разыскивая Easter lilies: Ди迪 их так любила. Станный, фарфорово-белый цветок, из одного громадного, небрежно свернутого лепестка, и высунуто жало-тычинка с сухим, сладким, ленивым запахом. В асимметрии цветка и в противоречии фарфоровой белизны и запаха — было что-то раздражающее, как в о'келлиевской манере говорить. Словом — Easter lilies нравились Ди迪, и надо было их во что бы то ни стало достать. Сезон их уже проходил. И только на Кингс-стрит О'Келли посчастливилось найти последние, уже слегка увяддающие, из пожелтевшего старого фарфора.

Со свертком под мышкой, насвистывая, выбежал О'Келли из магазина. Мысли весело пенились шампанским, и из искристой пены, как Венера, выходила Ди迪 в черной пижаме.

«Впрочем, нынешняя Венера такой и должна быть: в пижаме. Нагота слишком уж добродетельна...» — насвистывая, размышлял О'Келли.

— Добрый вечер, дорогой мистер О'Келли! Не правда ли, прекрасная погода?

О'Келли споткнулся: перед ним сияли золотые зубы викария Дьюли.

— Вы, вероятно, к себе — в контору? — чуть приметно улыбнулся Дьюли.

— То есть... почему в контору? — О'Келли немного смущался: никто не знал о том, что делалось по вечерам в конторе, и это было очень странно, что Дьюли... — Я не настолько ослино трудолюбив, чтобы работать еще и по вечерам... — непринужденно засмеялся О'Келли.

— А-а, так-так. Так значит... — Дьюли поднял тарелкообразную, пасторскую шляпу. И О'Келли снова весело покатился, придерживая под мышкой сверток с цветами.

Когда О'Келли свернулся на Гай-стрит, уже темнело. В бесчисленных ущельях узких переулков между старыми домами — зажигались, покачивались фонари. С реки плыл туман, все теряло свой ежедневный облик, и легче было жить — легче было обмануться. В кузнице лязгало железо, фонари красновато дымились — и можно было поверить, что внизу, у реки, собираются около костра латники Оливера Кромвеля. И что эта черная фигура — прекрасный и несчастный Риччио, пробирающийся к Марии Стюарт... О'Келли задумался, стоял, засунув руки в карманы.

Но Риччио обернулся — и О'Келли показалось: на нем плоская священническая шляпа. Что за странная встреча — или это все туман? О'Келли прильнул к витрине антикварного магазина и усиленно стал рассматривать позеленелый медный дверной молоток — уродливую собаче-человеческую голову. Потом осторожно перебежал на другую сторону и пошел следом за Риччио.

Да, это он: дощатая фигура, аккуратно сложенные позади руки — и пальцы, что-то отсчитывающие. Это был Дьюли, и переулок Сапожника Джона — пожалуй, довольно странное место для прогулок господина викария...

О'Келли нырнул в ближайший из проходов, сбежал к реке — по темному ущелью между высоких стен, и потом закоулками выбрался опять на Кингс-стрит.

Когда, прокружились по улицам с час, О'Келли снова очутился против переулка Сапожника Джона — туман уже осел, и было ясно видно: нет никого. Через боковую, окованную железом дверь О'Келли вошел в дом.

При конторе О'Келли была маленькая сводчатая комнатка, окном в переулок, окно старое, узкое — бойница с решеткой. Теперь эту комнатку не узнать было: старые, выцветшие гобелены по стенам, два железных узорчатокованных фонаря — от антиквара напротив; очень низенький — на четверть от полу — турецкий диван во всю стену. И переливающиеся, неуловимые огоньки в камине, и Диidi у огня — в своей черной пижаме, такая уютная.

Так вот лежать — прикованной к золотой игре огня, прихлебывать золотое, колючее вино и слушать — не слушать колючие слова О'Келли.

— ...Девочка моя, я именно этого и хочу, чтобы, поселившись с утюгами и Кемблом — вы стали несчастны. Счастье — одно из наиболее жирообразующих обстоятельств, а вам идет быть именно такою, тоненьkim, стриженым девочко-мальчиком...

Рука О'Келли касалась так нежно, и откуда-то издали, устало видела Диди причудливо-противоречивые Easter lilies и слышала свой голос:

— Но это так жестоко — обманывать Кембла. Он — большое дитя.

— Жестоко? — засмеялся О'Келли. — Жестоко — детям говорить правду. Если что меня убеждает в милосердии Божием — так это именно дарованная Богом ложь, именно то, что...

О'Келли не кончил: показалось — скрежетал замок в боковой двери, в переулке Сапожника Джона, а потом чьи-то шаги по каменной лестнице. Впрочем, О'Келли хорошо помнил, что дверь он запер на ключ: просто в старом доме бродила тень Сапожника Джона.

— ...Я не удивлюсь, если добрый Джон заявится сюда... — потянулся О'Келли. — Сегодня от тумана все так фантастично...

Диди ушла в театр и сказала Кемблу, что из театра ей надо кой-куда зайти. Кембл сидел один, не зажигая огня. За окном чокали капли, отчетливо и правильно, как часы. Когда совсем смерклось — пришла старушка Тэйлор и принесла письмо от леди Кембл: леди Кембл просила сына непременно прийти сегодня вечером. Явно, это было, наконец, давно жданное примирение. Все складывалось как нельзя лучше. Кембл мигом оделся и пошел.

Очевидно — ратификацию мирного договора леди Кембл хотела обставить очень торжественно: столовая была ярко освещена, и вокруг стола Кембл увидел миссис Дьюли, потиравшую руки викария и футбольноголового Мак-Интоша. Кембл радостно подошел к леди Кембл, но невидимая узда вздернула ее голову еще выше, она сделала величественный жест рукой — и сурово показала Кемблу на стул:

— Садитесь... — помолчала и подняла глаза к портрету сэра Гарольда в парике и мантии. — Боже мой, что сказал бы ваш покойный отец, сэр Гарольд...

Больше она говорить не могла: за нее говорил викарий — и кому же, как не ему, сказать все, как надо?

— Дорогой мистер Кембл! Мы пригласили вас сюда — потому что мы любим вас, ибо Христос заповедал любить и грешников. Мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам для того, чтобы вернуть вас на правильный путь, И вы последуете сейчас за мной и мистером Мак-Интош... — и заметив, что Кембл хочет возражать, викарий добавил: — хотя бы ради вашей матери — взгляните на нее.

Леди Кембл молитвенно смотрела на портрет покойного сэра Гарольда, из глаз ее показались две скучные слезы — это было наибольшее, что она могла себе позволить, не нарушая приличий. Рядом сидела и дрожала в лихорадке миссис Дьюли, не поднимая глаз.

Кембл спокойно сказал:

— Хорошо, пойдемте... — Все это было, конечно, такая же гнусная проделка, как письмо в голубом конвертике, и раз навсегда надо было с этим покончить.

Улицы были пустые. Ветер опять дул с реки, нагонял туман, окутывал крыши — и стены уходили вверх, в самое небо. Шли молча в ущелье из стен. Понемногу Кембл понял, что идут к конторе О'Келли. Ущелье все сдвигалось и давило, и ничего во всем мире не было, кроме стен до самого неба, и никуда нельзя было вырваться из стен: все идти, идти между стен — как во сне. И как во сне, не зная, знал Кембл, что ждет в конце пути.

В переулке Сапожника Джона, у окованной двери остановились. Наверху сквозь узенькую бойницу светил огонь.

— Ну-с? — торжествующе потирая руки, взглянул викарий на Кембла.

Как слепой ткнулся Кембл в окованную дверь.

— Заперто... — беспомощно обернулся он. Упрямый квадратный подбородок прыгал.

— О, не беспокойтесь, мы припасли ключ... — выскоцила из тумана футбольная голова. Ключ был громадный, неуклюжий. — Вот французские ключи это действительно культура, французского не подобрать... — добавил Мак-Интош.

Слышно было, как Кембл сделал по каменной лестнице два шага — и остановился. Секунду было тихо. Потом шаги загромыхали по лестнице, сливаюсь в гул: Кембл бежал вверх. Потом хлопнула верхняя дверь, секунда тишины — и Кембл уже громыхал обратно, не разбирая дороги, с грохотом промчался мимо викария куда-то вниз, как огромный взбесившийся грузовик без руля.

14. ПЕРО СИСТЕМЫ УОТЕРМАНА

Утром Кембл, как всегда, тщательно выбрился и надел чистый воротничок. В зеркале с удивлением заметил, что он совершенно такой же, как всегда, разве только маленькие слоновые глазки стали побольше: за ночь под глазами легла темная тень.

В столовой Кембл взял газету и механически стал проглядывать объявления о сдающихся в наем домах — как это делал последние дни. Поймал себя на этом, усмехнулся, отложил газету. Выпил, как обычно, две чашки кофе. Мазал хлеб маслом, но почему-то не ел, а складывал аккуратно на тарелке. И только когда заметил перед собой целую горку хлеба — сконфузился и ушел.

Было уже время идти в контору, но Кембл вернулся обратно в спальню. Заперся на ключ: еще раз все передумать и решить все с самого начала. Но в голове все колеса были мертвые и не двигались, и вместо мыслей было одно и то же: до боли ясный розово-черный переплет на груди у него — и смешные, кривые и тоненькие ноги у него.

Когда прозвонили к завтраку, Кембл очнулся и понял: думать было совершенно нечего и незачем. Все уже решено кем-то, он шел теперь между высоких — до неба — каменных стен, и никуда нельзя свернуть, идти только вперед, до конца.

Кембл открыл ящик стола и вытащил старый, оставшийся от отца, револьвер с игольчатыми патронами. Потом написал на имя леди Кембл чек на тридцать фунтов, которые у него лежали еще в банке, порвал полученный от О'Келли чек на пятьдесят фунтов — и тут увидел: ручка, которою он писал, была ручка О'Келли — очевидно, О'Келли оставил ее тут в день рождения Кембла. Это была обыкновенная чернильная ручка системы Уотермана — «Waterman's Fountain Pen» — и теперь ее, конечно, надо было вернуть О'Келли.

Кембл мучительно наморщил лоб: все остальное было определено и просто, а это было страшно трудно — с ручкой Уотермана. Надо было отдать и что-то сказать при этом, и все это очень осложняло положение. Кембл сунул ручку в тот же карман пиджака, где лежал револьвер, и всю дорогу думал о ручке как бы это в самом деле...

И так, с озабоченным и наморщенным видом, вошел в кабинет О'Келли.

О'Келли сидел у себя в кабинете с бумагами так же как вчера, и все-таки было в нем что-то совершенно новое. Через секунду, приглядевшись, Кембл увидел О'Келли — не улыбался. Это было так же невероятно, как если бы вдруг перестал улыбаться фарфоровый мопс Джонни. Это был не О'Келли...

Растерянно Кембл опустил руку в карман, вытащил перо Уотермана и положил на стол.

— Вот... ваша ручка.., вы ее забыли, я должен отдать...

О'Келли изумленно распялил глаза и переводил их с ручки Уотермана на растерянного Кембла и с Кембла на ручку. Потом стал красным, с минуту наливался смехом — и лопнул.

— Боже ты мой, перо Уотермана! Кембл вы — вы — неподражаемы.

Теперь это был т о т с а м ы й, это был О'Келли Кембл, не колеблясь, вытащил револьвер и выстрелил куда-то три раза. О'Келли медленно клонился вперед, пока не уткнулся лицом в бумаги.

Кембл не слыхал ни крика О'Келли, ни крика четырех его жен. Надел шляпу, вышел на улицу и, почувствовал: страшно устал, никогда в жизни не уставал так. Подошел на Гай-стрит к мирно дремавшему бобби:

— Я убил мистера О'Келли, адвоката. Пожалуйста, поскорей отведите меня куда надо: я очень устал.

Полицейский разинул рот и всем своим существом и округлившимися глазами так явно подумал: «сумасшедший», что Кембл добавил:

— Ну, подите и спросите в конторе, а я подожду. Только, пожалуйста, поскорей.

Через минуту полицейский и Кембл шли вместе вниз, по переулку Сапожника Джона. Шли молча между гладких, до неба поднимавшихся стен, и сквозь туман воспоминалось Кемблу:

так — без конца — он уже шел когда-то между двух гладких, нескончаемых стен...

15. СЕРО-БЕЛАЯ ЧЕШУЯ

Осенний ветер бесился, свистел, сек. С моря наседала огромная серая птица, закрыла крылами полнеба, нагибалась все ближе, неумолимая, немая, медленная, и все больше темнело. Но толпа не расходилась: прошел слух, что убийцу могут помиловать. В самом деле, глядишь, имя и заслуги его отца, покойного сэра Гарольда — еще не были забыты, и очень легко могло статься, что...

— Долой сэров! — каркал кто-то упрямо и хрипло. — Небось этого солдата в прошлом году живо вздернули... Долой сэров!

Фонарь у входа в тюрьму дергался и качался, и белые стены пошатывались, готовые рухнуть. Правосудие было в опасности...

Из толпы вынырнула футбольная голова мистера Мак-Интоша. Он был взволнован, его голос дрожал.

— Господа, правосудие и культура нераздельны. Мы должны стать на защиту культуры. Господа, можно ли себе представить что-нибудь более дикое, чем обдуманное и рассчитанное убийство? И поэтому, к сожалению... Да, да, говорю: к сожалению — мы должны требовать казни...

— Долой сэров!

Ветер свистел. От фонаря легла длинная светлая полоса, и в этой полосе пестрой чешуей переливались лица, котелки, воротнички — медленным, бесконечным движением ползущей змеи. Слов уж было не разобрать: змея переливалась и сердито урчала.

Откуда-то, как выпущенная из клетки, пронеслась стая мальчишек — все босые и все в белых воротничках.

— «Джесмондская Звезда»! Экстренное прибавление! Помилование убийцы адвоката О'Келли!

— Как? Уже? Помиловали? — вцепились в белые листки.

Но речь шла только о возможном помиловании, и только прибавлялось, что, принимая во внимание заслуги покойного сэра Гарольда, это было бы более чем...

— Долой сэров!

— Господа, правосудие...

— Долой «Джесмондскую Звезду»!

Серо-белая чешуя быстрее переливалась под фонарем, змея зашуршала по асфальту, поползла к редакции «Джесмондской Звезды» и двадцатью кольцами развернулась перед темными окнами. В редакции никого не было.

Звякнул камень в стекло, брызнули и задребезжали осколки. Но окна были такие же пустые и темные. И темная, немая птица сверху нагнулась совсем близко.

Пора было идти по домам: в постелях уже нетерпеливо ждали голубые и розовые жены. Ждали, чтобы зажмурившись от страха и любопытства, спросить:

— Неужели — помилуют? Неужели... И потом вздрогнуть и прижаться пылко: как хорошо жить...

* * *

К ночи ветер неожиданно стих. И стало тихо и черно — как будто куда-то провалился весь мир. Бывает так, что крутится весь день потерянный человек, вздрагивает от звонков и смеется таким смехом, от которого страшно, а глаза западают все глубже, и только об одном мысль: ткнуться головой в подушку, провалиться в черное — уснуть. И вот такая была ночь: головой в черную подушку ткнулся день, провалился — ни света, ни звука.

К ночи миссис Дьюли стало как будто легче. Весь день было очень нехорошо: опять пропало пенсне — и весь день она бродила как слепая, спотыкалась и натыкалась на людей. И все как будто бегала за какими-то покупками, а придет в магазин — и покупать ничего не надо, и вовсе не то, а главное — все равно: зачем теперь покупать?

Обед был в шесть с четвертью — вместо шести, и викарий острыми треугольниками поднимал вверх брови:

— Дорогая моя, ведь это так просто: иметь запасное пенсне. И тогда у вас не было бы этого... этого странного вида. И был бы порядок, а вы знаете...

— Хорошо, я куплю завтра... — Миссис Дьюли вздрогнула и поправилась. Послезавтра...

Потому что завтра... Кто же в мире будет что-нибудь покупать завтра — в тот день, когда там, в тюрьме, Кембла выведут во двор, поставят...

В спальне было темно, не надо было смотреть — может быть, оттого миссис Дьюли стало легче, и она неожиданно уснула.

Вероятно, спала только несколько минут. Проснулась, открыла глаза — и увидела белый фланелевый колпак викария: викарий, сложивши, согласно предписанию «Завета», руки на груди, мирно похрапывал. Все было черно и тихо, провалился весь мир. Вопить и кричать — никто не услышит и ничего не сделает: весь мир мирно спал, похрапывая, во фланелевом колпаке...

Неизвестно, сколько времени спал викарий, но только проснулся от воплей миссис Дьюли.

Тотчас понял: «Страшный сон — скорее будить»... — сны никак было не подвести под расписание, викарий очень боялся снов.

Вероятно, миссис Дьюли спала очень крепко — она кричала все громче и только тогда затахла, когда викарий схватил ее за плечо холодной рукой.

— Я думаю, вам на ночь не надо ужинать, дорогая...

— Да, я думаю — не надо, — ответила в темноте миссис Дьюли.

Через пять минут викарий опять спал, мирно похрапывая. Все было черно и тихо.

16. ТОРЖЕСТВУЮЩЕЕ СОЛНЦЕ

Было назначено в половине десятого — и совершенно правильно: всякий культурный человек должен иметь время побриться и позавтракать, и в том, что назначено было в половине десятого, только сказывалось уважение одного культурного человека к другому — хотя бы и преступному.

Солнце было очень яркое. Солнце торжествовало — это было ясно для всякого, и вопрос был только в том, торжествовало ли оно победу правосудия и, стало быть, культуры — или же...

Серо-белая чешуя тревожно шуршала и переливалась:

— Послушайте, господа, ничего еще не известно?

Нет, вчера ничего не получено, но, может быть, — сегодня утром... В конце концов все решит последний момент: зазвонит или не зазвонит в половине десятого тюремный колокол?

В тюрьму пробирался аккуратно выбритый розовый старишок, из тех, что имеют вид вкусный, как сдобные, хорошо подрумяненные пирожки.

Старишок постучал, обитая железом дверь в тюремной стене перед ним открылась.

Миссис Дьюли обернулась к викарию, она дышала коротко, часто

— Кто... кто это? Кто туда сейчас вошел?

— Ах, этот? Это, дорогая, м а с т е р.

Миссис Дьюли схватила викария за руки выше локтя, вцепилась в него изо всех сил:

— Вы... вы хотите сказать, что это тот, кто будет должен...

Викарий стряхнул ее руки:

— На вас смотрят. Я ничего не хочу сказать. Вы не умеете владеть собой...

Миссис Дьюли замолкла... Возле нее сверкнули чьи-то часы:

— Без двух минут половина десятого.

Без двух минут... Чешуя напряглась, замерла, не шевелилась. Бифштексно-румяные посетители боксов и скачек не отрывались от часов. Равнодушно блестели медные трубы Армии Спасения. Румяное, упитанное, торжествующее выкатывалось солнце. Иней на крыше таял, и тикала капель — как часы, отчетливо отбивала секунды — до половины десятого.

И вот капнуло еще, и последняя капля: половина. Напряженная, стеклянная секунда — и... ничего: колокол молчал.

Сразу зашевелилась чешуя, заурчала, и все громче. Все были оскорблены: и любители бокса и скачек, и сторонники культуры.

Кипели и переливались. Вымахивали руки. Зловеще свивались и развивались кольца, и все еще чего-то ждали, не расходились.

Миссис Дьюли — без пенсне, в сбившейся набок шляпе — опять схватила за руку викария.

— Вы... вы... вы понимаете? Ведь, значит, он значит, его не... Вы понимаете?

Викарий Дьюли не слышал, он смотрел на часы было уже без двадцати десять.

Без четверти десять, когда уже больше не на что было надеяться тюремный колокол вдруг запел медленным, медным голосом: капала с неба медная, мерная капель.

Миссис Дьюли закричала странным, неджесмондским голосом:

— Нет, нет, ради Бога, ради Бога! Остановите, оста...

Дальше уж не было слышно: чешуя бешено закрутилась, запестрела платками и криками. Солнце торжествовало, розовое и равнодушное. Трубы Армии Спасения играли тягучий гимн. Облегченно становились на колени: помолиться за душу убийцы.

А затем, когда все стихло, викарий Дьюли произнес речь — о необходимости проведения в жизнь «Завета Спасения». Все то, что случилось и замутило тихое течение джесмондской жизни — не было ли, наконец, самым убедительным аргументом? Если бы государство насильно вело слабые души единственным путем — не пришлось бы прибегать к таким печальным, хотя и справедливым мерам... Спасение приходило бы математически неизбежно, понимаете — математически?

Прокричали *cheers* в честь викария Дьюли, гордости Джесмонда, и единогласно приняли резолюцию. Надо надеяться, что на этот раз билль о «принудительном спасении» наконец пройдет.

1917 год